

Галина ТАЛАНОВА
г. Нижний Новгород



ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ

ПОВЕСТЬ
(Публикуется с сокращениями)

1

Светлана вышла из дома и, обмирая от удивления, увидела, что серая обшарпанная железобетонная стена, тянущаяся вдоль улицы, за пределами которой уже не первый год шло строительство какого-то нового, по-видимому офисного, дома, стена, чью серость давно перестали замечать, оказалась вся расписанной за три дня, как городецкая матрёшка, абстрактными картинами. Смысл их очень хотелось угадывать. Некоторые из художеств были как ребусы — казалось, разгадать их невозможно. Но можно попытаться истолковывать и так и сяк, вызывая из памяти, словно призрачных духов, давно отхлынувшие воспоминания, рождающие причудливые ассоциации... На других картинах было всё ясно и понятно, как в детском рисунке: мама в красном платье во всю альбомную страницу да серый папа размером с котёнка. Иным и вовсе суждено было остаться неразгаданными до конца, а поэтому к ним хотелось вернуться.

Светлана потом ещё долго ходила мимо этой стены, открывая каждый раз для себя что-то новое... Забавно было то, что на этой стене совсем не было движения теней от спешащих мимо прохожих. Вернее, они были, если солнечные лучи падали ровно напротив стены, но, дойдя до неё, не преломлялись ею, как обычно, а словно растворялись в том причудливом рисунке, дополняя его своим движением... И будто не тени это были уже вовсе, а сама жизнь, окрашенная во все краски радуги...

Затем Светлана уехала на неделю в командировку, а когда вернулась, то увидела вместо стены серый гладкий, только что закатанный асфальт с аккуратными белыми тротуарными бордюриками, которые было заказано пересекать автомашинам, и новый огромный дом, похожий на корабль, плывущий по суше в никуда. У неё было такое чувство, будто беззвучно обрушилась, как на экране, целая стена её жизни — как в том сентябре, когда, как карточный домик, сложился в руины гигантский небоскрёб, всколыхнувший всю непоколебимую Америку, и когда каждый думал о том, что никто ни от чего в этой жизни не застрахован. Иногда происходит и такое, чего не может быть никогда.

Потом Светлана минуту с неотчётливым страхом рассматривала себя в зеркале. Вот уже и гу-

синие лапки у глаз пробегают не только тогда, когда она смеётся; и кожа пористая и жёлтая, как пемза; и ощущение такое, будто весь день простояла на морозном солнечном ветре, хотя холод — он только внутри, ветер — из будущего. Она давно одна. Шесть лет уже. И, пожалуй, ей уже никого и не надо. Во всём есть своя прелесть. Одиночество — это время подумать. Впрочем, о будущем лучше не думать: там пустынно и холодно, как в ноябре в дачном посёлке. Ни души. Сырость, слякоть, вырубленное электричество, вывернутые пробки, заткнутый корявой палкой водопровод, скребущиеся на душе мыши и мир без света и теней. Без теней, так как солнце, мягко катясь по укороченной дуге, незаметно ушло за горизонт до следующего лета...

Она не завела детей. Но ведь и у некоторых, у кого они есть, их как будто и нет. Только это ещё больнее. Когда цепляются за детей, как за якорь, а дети — не якорь, им плыть хочется, и они рвут цепи. Ау! Кричи, как в лесу... Не дозовёшься. Только собственное эхо и услышишь, свой искажённый и усиленный, как в рупор, голос.

«Я меньше всего одинок, когда я в одиночестве», — сказал Рильке. Так и она. Жизнь с ощущением одиночества в толпе, в набитой телами маршрутке в час пик, когда все тесно соприкасаются, но никак не пересекаются, и поскорей хочется вырваться на свободу...

Это одиночество было и когда Света была молодой, любимой, казавшейся всем счастливой и летающей на крыльях. Её и тогда не слышали. Как тетерева, токующие на току, жили они с мужем. Слышали лишь себя самих. И жили с чувством, что в любой миг можно всё переписать и начать сначала. Это ощущение непрочности и ненадёжности конструкции было все двенадцать лет её брака. Всегда казалось, что вот сейчас сорвётся резьба какого-нибудь маленького незаметного винтика от постоянного притирания друг к другу, винтик этот вылетит с лёгким стуком об пол — как сигнал: услышьте, оглянитесь, но нет, куда там — закатится в какую-нибудь щель — не найти. И рухнет вся годами укрепляемая и всё равно расшатывающаяся конструкция. Но конструкция не падала, скрежетала несмазанными шестерёнками и заржавевшими деталями, скрипела разошедшимися половицами, звенела треснувшим стеклом, хлопала листьями

кровельного железа, которые собирался снести ветер, но стояла, не падала.

А упала, когда и не ждали. И совсем в другую сторону.

Это была дивная весна. Дивная, потому что лето началось в марте. Настоящее лето, когда снег почти сошёл за трое суток. Деревья стояли беззащитно голые и совсем не готовые к летнему припекающему солнцу. Возвращения перелётных птиц ещё не ожидали. Все катившиеся из глаз слёзы высохли, а непролитые — спрятались до поры. По уже сухому асфальту весело бежали проворные ручьи. Люди перепрыгивали, перескакивали, перепархивали через них на вновь образовавшиеся сухие островки. Это были весьма забавные пешеходы, не успевшие снять ещё своих высоких, доходящих почти до колен кожаных сапог, но уже раздевшиеся до пёстрых джемперов и кофт. И от этого своего странного вида людям было весело. Они блаженно улыбались, подставляя лицо этим случайным, щедрым по-летнему лучам, хотя и хорошо понимали, что до лета ещё так далеко, что зима может внезапно вернуться... Но ход жизни к летнему теплу набирал скорость. Назад если и повернёшь, то ненадолго — возвращение в тепло впереди. Эти солнечные лучи были как тепло любимых ладоней на лице, на лбу: «Нет температуры? Голова не болит?» Эти ладони изучали и запоминали твоё лицо.

Эта весна была изумительная ещё и потому, что они собрались в Сочи. Они никуда не ездили несколько лет, что делали раньше до перестройки ежегодно, а тут мужу предложили на работе путёвки на пару недель в пансионат, и они заняли денег — решились.

Та неделя была как сказка. Нет, они снова не видели и не слышали друг друга. Но неделю било в глаза яркое солнце; у ног равнодушно плескалось море, холодное и завораживающее своей бесконечностью; на деревьях шелестели не только зелёные, но уже и запылённые листья, а аллеи источали горьковато-нежный аромат мимозы. Шёл дурманящий запах от какого-то огромного куста, усыпанного розовыми цветами, слегка напоминающими наш шиповник...

Им казалось, будто вернулась юность, что они снова молоды и глупы, полны иллюзий о «прекрасном далёко» впереди и тешат себя надеждами,

которым потом будет суждено медленно растаять, как следу от реактивного самолёта в пронзительной синеве. Будто и не было этих серых, похожих на доски в дачном заборе, лет... Снова, как в забытом своём прошлом, они ходили по полупустынной набережной, взявшись, как подростки, за руки, и можно было никуда не торопиться, процеживать минуты, будто густой ликёр, катая его во рту, — и не спешить проглотить. Можно было просто сидеть, обнявшись, на лавочке, притулившейся на набережной, счастливо жмуриться от солнечного света, бьющего тебе, будто фары встречной машины, в глаза, и смотреть, как катается море по отшлифованной им гальке. Ощущение чудесной нереальности было настолько сильным, что хотелось потрясти головой и проснуться от наркотического рваного сна с забытьём. Она даже сказала, грустно смеясь, мужу: «Ущипни меня. А то я сладко сплю и боюсь проспать станцию, на которой выходить».

С этим ощущением праздника они вернулись в Москву, в которой снова началась зима. Сыпала ледяная крупа, жёсткая, как дробинки града; сшибающий с ног ветер сквозь лёгкие плащи пробирал до костей; деревенели ноги в лёгких ботинках, — и уже почти верилось, что сказка приснилась.

Ещё оставались дни от отпуска, и три дня потом Светлана просто отсыпалась дома от этого волшебства. Муж уже пошёл на работу. На четвёртый день она услышала в полдень поворот ключа в замке — и вздрогнула от испуга: слишком рано для прихода супруга. Но это был он. Он почувствовал себя плохо и пришёл: давление, наверное. Давление было повышенное, но ведь так часто бывало. Лучше не стало ни к вечеру, ни к утру. Муж бледнел, его тошнило, кружилась голова. Она вызвала «скорую», приехали, сделали укол — и уехали, сказав, что ничего страшного. В жизни вообще всё не очень страшно. Всё проходит. Человек привыкает ко всему, смиряется, притупляется любая боль. Но мужу становилось всё хуже. Она позвонила его другу-врачу. Друг к ним заглянул, посмотрел мужа, тихо лежащего с лицом, очень похожим на гипсовую маску, снова вызвал «скорую» — и мужа увезли. Приятель говорил очень-очень спокойно, настораживающе спокойно, что всё пустяки, но, возможно, открылось внутреннее кровотечение. Надо сделать анализы.

Потом товарищ позвонил и срывающимся голосом сказал, что мужа оперируют, так как кровотечение подтвердилось.

Затем Светлана сидела в реанимации и держала очнувшегося от наркоза мужа за ледяную, неживую ладонь. В реанимацию не пускают, но её пожалел старый сердобольный санитар — и она схватила мужа, как ребёнка, за руку. Он сказал: «Не отпускай: пока ты держишь, я держусь за жизнь». Но вскоре пришёл врач и на повышенных тонах отчитал её: «Что вы здесь делаете? Здесь находиться нельзя». Света ушла. Когда она шла по коридору, ей попался навстречу санитар, совсем ещё мальчик, с каталкой, накрытой простынёй. Потом ей всё казалось, что если бы она не уступила врачу, не ушла тогда из реанимации, то всё было бы иначе. Сказка снова вернулась бы. Она очнулась бы ото сна в светлой и солнечной комнате, где солнце прорывается сквозь фигурные прорезы в занавесках. Впереди был выходной — и можно было никуда не спешить.

Но мелодично зазвонил телефон — и сглатывающий хриплый мужской голос выговорил: «Не плачь. Не кори себя, сделать ничего было нельзя. Он прожил бы ещё от силы месяц. Зачем вам был нужен этот месяц? Для долгого и трудного прощания? А так он перелетел из одной сказки в другую, не успев понять, что произошло. Совершенно здоровый, ещё молодой сорокалетний человек («До сорока все мальчики, все дети...» — Горбовский), полный сил и надежд». Она тогда и не плакала, она просто не понимала, что произошло. Отупение какое-то, от таблеток, наверное, от тех, что в неё впихнули.

2

Потянулись дни без запаха, цвета и вкуса. Она больше не была тем тетеревом на току. Себя она тоже слышать перестала. Все желания исчезли. Она просто тупо переползала изо дня в день.

Она внезапно поняла, что наличие свободного времени — это опасность позволить тоске зачасти в гости. Слезы подступали внезапно, остановить их было невозможно, она захлёбывалась от сожаления о своей провороненной молодости и бессилия что-либо исправить. После очень жгло глаза и всё становилось безразлично. Чем больше было свободного времени, тем чаще она

цепенела и часами сидела, уставившись невидящим взглядом в пространство.

Если она и была ещё к чему-то безразлична, то это к своей работе. И сейчас это, пожалуй, было единственной отдушиной в её жизни. Работа не занимала много времени в её жизни, Светлане сочувствовали, и она могла даже иногда не появляться в институте по нескольку дней. Зато на службе было общение, здесь она забывала то, что помнить не хотелось, но что всё время стояло перед её глазами. И всё же зарплаты «неостепенённого» преподавателя ей теперь явно не хватало даже на необходимое.

Так она оказалась на заводе. Теперь она вставляла в половине шестого утра, заводя по несколько будильников, чтобы не проспять: сначала звенел один, который стоял на тумбочке у кровати, чуть приоткрыв веки, она стучала по шишке на макушке и продолжала спать дальше; затем трезвонил другой, который расположился на кухне: тот захлёбывался от визга, пока не начинал хрипеть и «кашлять»; затем — электронный, тот, что воцарился на письменном столе: этот издавал кукушечный крик — его могли остановить только её бросок с кровати или разрядившаяся батарейка. То, что батарейка может сесть, поднимало Светлану с постели, из заволакивающей мути сна, где было так уютно и мёртвые были живыми.

Неторопливо, в полусне одевшись, а потом наспех выпив чаю, заглывая кусок чёрствой булки, Светлана вдруг обнаруживала, что надо бежать, так как опаздывает на служебный автобус. Опоздание на служебный автобус сулило недопустимое опоздание на работу на два часа. Тут ей приходила в голову мысль о том, что это хорошо, что у неё нет маленьких детей, которых надо тащить ещё и в детский сад, когда они вдруг захотели какать. Она резко захлопывала входную дверь, запирала сначала внутреннюю деревянную, затем — железную, внешнюю. Внешняя дверь почему-то всё время проезжалась по её левому сапогу, отчего тот был весь исцарапан. Вприпрыжку она бежала по лестнице, на ходу застёгивая пальто, выбрасывала пакет с мусором в помойку, втискивалась в маршрутку, подталкивая руками влезавших туда ещё не проснувшихся людей. И начинала задыхаться от нехватки воздуха. Упасть тут — не упадёшь, но от выхлопных газов и запаха бензина может начать тошнить. Только бы не это! Потом она

скакала на перекрёстке, выглядывая «пазик» с зелёной полоской на боку и жёлтыми занавесочками на окнах, и энергично махала руками, выловив его в уносящемся потоке транспорта. Только б заметил её и не проехал мимо. Иногда не замечал — и тогда приходилось добираться с двумя пересадками на городском транспорте, а потом полчаса ещё идти по бездорожью среди новостроек и вырытых котлованов, обмотав сапоги полиэтиленовыми пакетами, а они быстро становились свинцовыми от налипшей на них глины. Ноги скользили и разъезжались. Как при Сталине, за опоздания на Колыму не ссылали, но депремировали, и пропущенные часы приходилось отработывать.

Она работала в микроцепочке конвейера по закупке бутылочек с лекарствами. Высшее образование здесь не требовалось, но платили сносно, так как работа была сдельная: сколько часов проработаешь, столько и заплатят. Флакончики надо было вовремя поставить в автомат, надеть на них крышку и вовремя успеть снять. Автомат зажёвывал пузырьки и перекашивал колпачки, потом эти изуродованные и смятые флаконы надо было раскручивать и выкидывать. Иногда автомат принимался стрелять крышками, и она очень боялась, что крышка ударит по очкам. Завинченные флакончики приходилось докручивать руками, иначе растворы вытекали при транспортировке. От завёртывания пузырьков руками пальцы и ладони стирались в кровь. Чтобы этого не происходило, на ладони товарки наклеивали лейкопластырь, но это помогало слабо. От стояния на конвейере по двенадцать часов у Светланы стали отекать и болеть ноги. Желание вытянуть их и положить на подушку выше головы не проходило и к утру. Ещё приходилось таскать двадцатилитровые ёмкости и ящики с пузырьками. Правда, не с этажа на этаж, а только по длинному коридору. Иногда от мелькания диска у автомата, стояния на ногах и духоты у неё начинало резко темнеть в глазах и кружилась голова так, что стены и потолок медленно менялись местами, а потом возвращались на место, чтобы продолжить ход маятника... Тогда она глотала таблетку, находящуюся всегда в кармане халата. Очень мешала тугая матерчатая шапочка на голове, волосы были мокрыми от пота и становились за день соляными. Шапочка обручем сжи-

мала голову, и часто от этого и от стучания закупорочного устройства возникала мигрень. Мигрень таблеткой не снималась.

Жизнь теперь была таким же конвейером из работы и быта. Свободное время исчезло. Она приходила домой — и не в силах была разогреть себе еду или пойти в душ. Света садилась в кресло, осторожно помещала гудевшие свинцовые ноги на журнальный столик и сидела, уставившись в пространство. Без мыслей, без желаний, без сожалений. Как некий вспомогательный механизм к конвейеру. Сначала она перестала смотреть телевизор, а потом прекратила читать. На телевизор не хватало ни времени, ни сил. Читать — желание было. Иногда она даже брала в руки книгу, но, пробежав пару абзацев, проваливалась в небытие. Среди ночи просыпалась, пугалась, что проспала, но, посмотрев на часы, потихоньку приходила в себя и, обнаружив на часах этак половину пятого утра, шла в душ смывать с себя грязь после работы перед новым походом на неё.

В сущности, она даже не была недовольна такой жизнью. Втянулась. Жизнь текла и текла. И зачем вдруг всплыл этот мальчик из её детства, у которого давно была другая, отличная от её конвейера жизнь? Мальчик тот давно утонул в круговерти жизни, лежал на дне её памяти с камнем на шее. Он не мог всплыть даже мёртвым. В её жизни не было места этому мальчику, жизнь была заполнена до предела всякой шелухой, и вакуума в ней не было. Но он вынырнул из толпы и нерешительно потянул её за руку...

3

Они случайно столкнулись в городской маршрутке, набитой, как банка кильками. Светлана и была как килька дохлая. В полусне передавала тяжёлые монетки, опасаясь, что они выскользнут из затёкших ладоней. Ронять можно только своё, не чужое. В её руку легла очередная монетка, и кто-то вдруг сжал её пальцы в кулак тяжёлой большой ладонью. Она возмущённо вскинула свои покрасневшие глаза — и увидела ещё молодое лицо, сквозь папье-маше которого проступали когда-то промелькнувшие детские черты мальчика из параллельного класса.

«...Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя...» Это была песня её детства, и они пели её, гуляя на выпускном вечере по откосу. Душно пахло сладким жасмином и скошенной травой. Вся жизнь была впереди, полная иллюзий и несбывшихся надежд. «Первый тайм мы уже отыграли и одно лишь сумели понять: чтоб друзей мы своих не теряли, постарайся себя не терять...» Первый тайм ещё сыгран не был, и себя ещё они даже не нашли. Это потом они начнут терять. А тогда они просто пели — чужую, взрослую песню, бередящую их душу тем, что взрослая жизнь не за горами...

Она не видела этого мальчика долгие-долгие годы. И она почему-то испугалась. Испугалась, что уже не молода, не верит в «прекрасное далёко» впереди, испугалась новых разочарований и потерь. Нельзя совместить солнце, что было в прошлом, и луну. Бывают, конечно, дни солнечного и лунного затмений. Можно взять закопчённое стекло и увидеть, как луна заслоняет солнце. Но ведь это давно в прошлом. Теперь же предчувствие страха потерь оказалось сильнее жажды любви и самой любви. И разве может солнце теперь заслонить луну — холодную, безжизненную, льющую бесстрастный свет? Солнце может только заслонить этот свет своей тенью, но не своим светом. Просто набегит тень, как набегает на лицо, и только по тени можно догадаться, что промелькнула печаль. Время света миновало. Хотя ей и сейчас иногда кажется, что всё ещё впереди. Смешно. Возраст — это груз несбывшегося и несбыточного. Возраст — это то, что все уже знают, а ты ещё не догадываешься. Но её узнали. И это через столько лет... Этот человек будто отодвинул тяжёлые шторы, пропахшие пылью, и открыл окно, впуская свежий весенний воздух, ещё пьяняще пахнувший только что сошедшим снегом, и нестерпимо захотелось вдруг выглянуть наружу... А интерес — это уже путь, путь к новой любви, когда в прошлом всё ясно, как в старом пожелтевшем чертеже, который чертили отточенным блестящим грифелем; но если грифель был очень мягкий, его можно было нечаянно растереть рукавом — и тогда на чертеже оставался серый пятнами налёт, а потом растирали мякиш белого хлеба и чистили чертёж крошками этого хлеба, чтобы было ещё чище и яснее. Теперь чертежи не чис-

тят. Их делают на компьютере, а затем распечатывают в типографии. Но всё равно с самого начала неясно: будет ли эта чёткая конструкция долго жить? Рушатся даже мосты, зимние аквапарки и многоэтажки. Иногда.

Светлана подумала, что может привязаться к этому человеку. Полюбить даже. Впустить в сердце, хотя давно знала, что мужчин туда не нужно пускать никогда.

4

...И всё-таки жизнь удивительна! Когда казалось, что ждать в этой жизни уже нечего — и остаётся только кукситься на выгоревшем лысом берегу, где обсыхает всякий сор, выброшенный на сушу, память вдруг накатила неожиданной волной и смысла в море. Как тайфун. Как отлив. Как цунами. И оказалось, что она не тонет, хоть чуть не захлебнулась несколько раз солёной водой...

В жизнь снова вернулся солнечный свет, хоть и был он рассеянным, будто лившимся сквозь дым горящих лесов. Она стала ждать телефонных звонков. Говорили почти всегда ни о чём. Долго. Просто делились событиями текущих дней. Голосами не играли, оттенков и полутонов не искали, а просто выплёскивали всё, что накопело и бурлило, как в чайнике, надо было, чтобы кто-то приоткрывал крышку, чтобы можно было выпустить пар. Иначе крышка начинала брнчать, издавая металлический эмалированный стук пустоты о наполненность.

Когда он пропадал надолго и не звонил, она с удивлением обнаруживала, что скучает. Затем не выдерживала и старательно крутила телефонный диск, засовывая указательный палец в его дырочки. Она не приобретала новых телефонных аппаратов, которые с кнопками и трубками и их можно класть даже под подушку и говорить, сидя не на жёсткой табуретке в прихожей, а лёжа на диване.

Пожалуй, больше всего, чего ей в последнее время не хватало, — это жилетки, чтобы выплываться. Теперь такая жилетка появилась. Но Светлана с удивлением для себя открыла, что она говорит на каком-то другом диалекте, который истолковывают по-своему. Не на другом языке, нет. Язык был тот же. Диалект другой. Когда

произнесённое слово принимает противоположный смысл. Но чаще ей просто ничего и не давали говорить. Она стала понимать, что это она — жилетка. «Ты не плачь, не плачь, не плачь, куплю солнечный калач». Почему солнечный? Почему нам всем чудится солнечный калач, а вместо этого луна пускает в окошко ледяной безжизненный свет, и от него тянет плакать о том, что не сбылось. Несбывшееся вырастает в своих размерах, заполняет тёмное пространство комнаты и мучает воспоминаниями. От этого лунного света ветви рисуют на стене живые узоры. Они, как лёт облаков и бег времени, никогда не бывают постоянны. Беги не беги, не поймашь, улетело, сгнило или осталось обрастать мхом на дне памяти, тщательно схороненное от чужих глаз. В юности она любила по этим теням гадать и предсказывать своё скорое и нескорое будущее. Что привидится воображению среди этой игры обугленных ночью ветвей и безжизненного, как в операционной, света? Суженый, дом, пожар, дорога... Ветер перечёркивал причудливое примерещившееся очертание будущего. Иногда это радовало. Иногда пугало. Теперь гадать не пыталась. Гадание вызывало страх, когда озноб начинает сквозняком пробегать по позвоночнику. Знать ничего не хотелось. Да и что знать? Лотерейная шапка пуста. Все билетки раскручены и прочитаны... Ан нет... Оказалось, что не все...

Разговоры длились часами. Они мерно перетекали из одной темы в другую, обходя всё больное стороной. Она интуитивно чувствовала, что её слабый голос не услышат. Это — как писк птенца сквозь токование тетерева. Поэтому она старалась слушать. Слушала, как погружалась в тёплую морскую воду, наслаждаясь голосом и волнами настроения. Когда же оказываешься на гребне пузырящейся и искрящейся пены, то ухаешь с головой под воду. Ухала под воду она часто внезапно. Как на водоворот какой-нибудь натыкалась. Чувствовала, что воронка начинает стремительно засасывать и того гляди утянет в смертельную глубину, из которой не выбраться. Это пугало своей непредсказуемостью, и она начинала с печалью думать, что луну и солнце в одном обличье всё же не соединить. Что за человека я встретила в том трамвае? Нет, не того мальчика из юности... «Как молоды мы были... как верили в себя...»

Впрочем, в себя мальчик верил и сейчас. Он

был, несомненно, талантлив. Она чутко отличала внутренним глазом ювелира подделку от подлинника. Пожалуй, и привлекло-то её то, что он резко отличался от остальных. Одна нестайная птица заметила другую нестайную птицу и радостно замахала крыльями. Мальчик всё ещё верил, что он не только кем-то станет, а об этом узнает хотя бы вся наша огромная страна.

...Разговаривая по телефону, украдкой наблюдали друг за другом. Было что-то в нём такое, что подсознательно пугало её. Он чувствовал это. «Я тебя не понимаю», — как-то сказал он ей. Да она и сама себя не понимала.

Её пугала его резкость, ей постоянно казалось, что она смешивает в хрупком прозрачном стеклянном стаканчике несколько неизвестных смесей: гранёная стекляшка начинает медленно нагреваться у неё в руке, рождая одурманивающий эфирный запах, генерируя предчувствие какой-то ещё непостижимой беды; стаканчик становился горячим, обжигал подушечки вцепившихся в него пальцев, и росло, как надуваемый воздушный шарик, ощущение того, что стаканчик сейчас взорвётся — и разлетится вдребезги, рая и уродуя всё, что попадёт по ходу траекторий разлетающихся осколков. Потом воздушный шарик съживался, терял в объёме, но не в весе, оставляя запряганный на доннышке души и в глубине сердца осадок от той взрывоопасной смеси.

Это не были какие-то серьёзные откровения, но иногда случайно прорывалось, как водопроводная труба, затопляя дорогу, то, что разносило их всё дальше друг от друга. Ноги замочить не хотелось, брезгливо подгибала подол, осторожно ступая и боясь промахнуться и не попасть на сухой островок. Как-то он сказал ей: «У тебя нет недостатков: ты красива, очень умна, весьма тонкий человек и внимательный собеседник, интеллигентна. Но ты «не остановишь коня на скаку». Это не недостаток, это продолжение твоих достоинств». Но она решительно не хотела ни «останавливать скачущих коней», ни «входить в горящую избу». Она совсем не понимала, как можно желать, чтобы женщина была такой. Всё ещё по девической наивности думала, что сила женщины — в её слабости. Да и самой ей хотелось «на ручки», чтобы была спина, за которую можно было спрятаться от «ветров жизни», чтобы была широкая грудь, дабы в неё можно было уткнуться и выплакаться, если на душе штормит, а на бе-

регу ломает деревья. У неё всегда в жизни была такая спина. А сейчас она стояла на пустыре, открытом всем ветрам, сложив руки на груди и обнимая саму себя...

Её настораживало его ежемесячное бегство в столицу с его походами по друзьям и подругам, это его проветривание и накопление новых впечатлений. Сама она была существом очень домашним, если когда-то в молодости ей и хотелось «вспорхнуть», то бывало это нечасто, раз в год или даже в два. Потом она понимала, что жить в гостях неделями, не стесняя и не раздражая своим присутствием, можно только у близкой тебе женщины, тем более отвечать весёлым голосом по телефону, что он стирает свои вещи, чтобы пойти на встречу в Союз художников, поэтому вот уже три дня не выходит из дома.

«Искусство давно не проповедует нравственное. Только авантюрист побеждает в искусстве». Ох, как она была далека от этого! Её-то воспитывали по-иному, в понятиях, что искусство «сеет разумное, доброе, вечное».

Она лежала ночью одна в своей мягкой постели с хрустящими, пахнущими стиральным порошком и так приятно ласкающими кожу простынями, смотрела на тени на стене, которые плели свой диковинный зловеющий узор, перерезающий отсвет от фар заблудившихся и запоздавших машин, и вязала свой рисунок из странных и горестных фантазий, осторожно обвивающих тот осадок в душе и сердце, превращая его в кокон, закрытый до поры.

Её пугали его деньги: по её понятиям, должно быть гораздо меньше. Она отгоняла от себя мысль о том, что, вероятно, нерадивые и неталантливые студенты архитектурного факультета, где он преподавал графику и ещё вёл какие-то практические занятия, приносят тощие конверты. Но эту мысль снова, как грязную пену, выносило из подводных холодных течений её подсознания и пригоняло к берегу в очередную сессию и во время переэкзаменовок — затем он срывался куда-нибудь в жаркие заграничные страны. Она же была воспитана в представлениях, что брать взятки — преступление, пусть даже ты тратишь силы, здоровье и талант на коврики для ног студентов-футболистов. В ней всю жизнь теплился испуг, что человек, которого её отец спустил с лестницы за то, что тот позвонил к ним в квартиру под Новый год, держа в руках

коробочку, завернутую в золотистую фольгу, напоминающую золотую рыбку, переломает себе хребёт и останется лежать навтыжку всю оставшуюся свою жизнь.

И, тем не менее, она по-своему привязалась к нему. Они могли говорить по телефону часами. Она скучала по его странному голосу, напоминающему крик какой-то маленькой птицы. Это как-то незаметно стало неотъемлемой частью её жизни, потерять которую становилось уже страшно. Потерять страшно, а слить независимое русло своей жизни с его судьбой — казалось ещё страшнее. Какое-то ощущение возникало, что тогда — падать этой воде с горных хребтов с оглушающим шумом водопада, уносящего за собой скользкие угловатые камни, сметающие многое на своём пути.

В квартире будто жила тень мужа, совсем не похожего на Командора, но ей казалось, что если бы её муж был Командором, то ей было бы сейчас легко изменить свою жизнь и впустить в неё человека, который уже вломился в её душу, словно подгулявший пьяница, потерявший равновесие и навалившийся на приоткрытую дверь, — оставалось только просто ввалиться в её обитель.

«Я хороший психолог...» — твердил он. А она думала о том, почему этот замечательный психолог не видит, что она слабая и хрупкая женщина: ей тоже хочется, чтобы её пожалели, чтобы цветы дарили и защищали от всех сквозняков. Ну какая она стена? Так, шалаш, который надо утеплять засушенными букетами и ворохом прошлогодних листьев. И почему она должна «останавливать коней на скаку», если она гуляет по лужайке, где трепетные лани нюхают невытопанную траву? А он цветов ей не дарил, так как считал, что она — умный человек и в букетах не нуждается.

Очень часто она натыкалась в их разговорах на какие-то ежиные колючки: они прокалывали до крови подушечки пальцев, когда она пыталась ощупать шероховатую поверхность и погладить. Никто в клубок не сворачивался, бархатная пуговица носа не пряталась, но колючки торчали. От неё хотели соучастия и понимания, но никто не собирался становиться для неё жилеткой, чтобы впитывать в себя солоноватую водицу, оставляющую некрасивые белёсые разводы, от которых жилетка стояла колом и становилась презенто-

вой. Она пыталась заставить его посмотреть на мир и ситуацию философски, но слышала: «Мне наплевать на мир и на тех, кто в нём. Мне плохо, и со мной поступили скверно. Почему я должен думать о других?» Этот, по её мнению, неверный звук резал ей ухо, запускал в сердце булавки: их никак не вытолкнуть обратно, а если и получалось вытащить, то долго потом саднило и кровоточило. И она старалась не слышать этого звука железа по жести, нарушающего состояние её гармонии. Она отсекала этот звук всеми возможными фильтрами, чтобы не пропустить в своё сердце его тревожные частоты.

«У тебя всё — или чёрное, или белое. Жизнь не такая...» — говорил он. А у неё даже сны цветные были, не чёрно-белые, хотя у большинства людей — чёрно-белые... И только скелеты ветвей на стене чёрные на сером лунном квадрате. А потом — клавиши вот тоже бывают только чёрные и белые, а сколько разных звуков из них можно извлечь... Да что звуков! — вальсов, сонат, симфоний, реквиемов... А у него было либо всё чёрное в тон полосы, в которой он пребывал, либо красное. Цвет зарева, пожара, заката, крови, похорон.

У него и рисунки все были какие-то тревожные. Либо скачущее по ветвям пламя, скручивающее ярко-рыжие и бурые листья в причудливые трубочки, завораживающе полыхавшие и сгоравшие на ветру; обугливающиеся ветки в весёлых языках пламени; чёрные головешки и чёрные большие птицы; бушующее, всё пожирающее пламя — сквозь листву.

И всё же ей уже не было так одиноко, как раньше. Теперь у неё был человек: и если уж нельзя было вывернуть душу наизнанку, то хотя бы перед ним можно было расстегнуться на пару верхних пуговиц или одеть душу даже в мягкую махровую пижаму без режущего белья под ней и чувствовать себя легко и свободно. У неё был человек: по нему она скучала и, пожалуй, даже начинала любить. И уже мерещился семейный очаг. Тёплый дымок над крышей, тихие вечера, когда можно мирно смотреть телевизор, уютно устроившись на плюшевом диване и положив голову или ноги милому на колени. Зачем солнце, когда ветки на стене сплетали в ночи, купаясь в лунном свете, свои узоры?

Почему мы видим жизнь так, как нам хочется её видеть? Рисуем её образ по своему подобию,

удобно подгоняя под себя. И злимся на себя и окружающих, когда она не подгоняется. Тень может быть короткой, может быть длинной, может быть косой и искажённой, может совсем пропасть, когда из жизни исчезает свет, а человек, он всегда одинаковый. Какой есть, а не такой, каким мы его нарисовали, исходя из нашего опыта и представления о чёрном и белом. Разве что время нас меняет. И не всегда в лучшую сторону. Даже чаще не в лучшую. Почему, приобретаемая опыт, человек становится хуже? Злее, расчётливей, безнравственней? Казалось, что должно быть наоборот. Ан нет. Неужели потому, что перестаёт видеть в жизни чёрное и белое, как в юности? А понимает, что существуют и другие цвета и оттенки спектра?

Однажды, ещё до того как её окликнул художник, когда уже прошло немало времени после смерти мужа, в один из выходных вдруг накатила такая тоска, справиться с которой не было никаких сил: болело под лопаткой и в груди, а на зрачки налипала мутная белесая слизь отслаивающейся роговицы, раздражённой плохо вымытыми пальцами и платком, вытирающими то слёзы, то жидкость, — она зарегистрировалась на нескольких весьма популярных сайтах, где можно было встретить людей, казалось, навсегда исчезнувших из твоей жизни, а может, если повезёт, даже обрести новых друзей. Это давало иллюзию того, что ты не одинок, что тебя слышат и понимают, и в любой момент можно перекинуться с кем-нибудь парой ничего не значащих и ни к чему не обязывающих фраз и накапать немного краски в серые будни. Так, лёгким воздушным мазком, где лишь по наитию угадываются цветная дымка на горизонте или светящийся ореол... Ей всё труднее было молчать и вспоминать свою жизнь, чувствуя себя замурованной среди груды камней и железобетонных обломков, в которые превратились недавние стены после внезапного землетрясения... Она просто пыталась нащупать хоть какую-то связь с внешним миром, в котором продолжалась жизнь...

Иногда она листала чужие страницы, старательно щёлкая мышью по серой спине и пытаясь высмотреть среди чёрно-белых строчек родную душу, но такой души не было даже на необъятных просторах Интернета. Может быть, дело в нас самих? Мы просто не способны бы-

ваем иногда увидеть людей, которые нас окружают. Смотрим, как сквозь бронированное стекло, на чужие лица... Чтобы выжить — надо строить иллюзии, она и пыталась. Иногда она перебрасывалась двумя-тремя дежурными посланиями и на несколько недель или даже месяцев забывала об этих страницах. Бывало, если попадался умный собеседник, переписка затягивалась, пока она не узнавала о нём что-то такое, после чего писать больше не хотелось. Порой Светлана читала чужие дневники, что были выставлены на всеобщее обозрение и к которым можно было написать свой убийственный комментарий. Случалось, попадались тонкие и изящные записи, сквозь них проступала боль, словно пятна от ягод, засунутых в карман. Это жонглирование фразами напоминало ей игру в бадминтон. Каждый старается не поймать, а побыстрее и половчее отбросить от себя воланчик. Хорошо хоть не волейбольный или даже футбольный мяч. Многие здесь как бы «садились на иглу» и уже не могли жить без виртуального общения. Она тоже была бы рада кого-нибудь тут встретить, кто бы мог заслонить собой умершего мужа. Будто жила в некоем постоянном затянувшемся ожидании солнечного затмения. Только ей очень хотелось, чтобы затмение не проходило. Стало постоянным. Тогда она не будет глядеть на небо сквозь закопчённое стекло. А так смотрела — и видела, как луна медленно наплывает на солнце лишь на минуту, временное помрачение, иллюзия замены человека человеком — и снова всё хорошо видно: где солнце, где луна.

С тех пор как она оказалась придвинута в маршрутной давке к бывшему однокласснику, она бродила по чужим страницам лишь изредка. Просто ей там стало неинтересно: насколько все было скучно, бесцветно и примитивно по сравнению с ним. Любое болото засасывает. И хотя Светлана, как отважная лягушка, усердно дрыгала лапками, пытаясь сбить масло — и не утонуть, она понимала, что все кочки и островки, на которых она пыталась спастись, — медленно погружались в мутную жижу. Не получалось даже диалога. Диалог получался только с ним, хотя и трудный, с эмоциональными всплесками, как у переполненной кастрюльки, плюющей на раскалённую плиту, пока не перекроют газ; с недоумками и откровениями, о которых хотелось

не знать, и после такого «диалога» чувствуешь себя совсем без сил, будто выпотрошенная.

Её приятель опять уехал в Москву, где пытался пробить себе выставку, и вновь бегал по многочисленным богемным друзьям и подругам... Она подошла к подаренной им картине, что висела у неё на стене в гостиной. Это была странная картина. На ней была изображена сказочно огромная луна, от лунищи сбегала широкая люминесцентная дорожка, похожая на ледяное зеркало, раскатанное прохожими на заснеженном тротуаре. Эта дорожка падала на увеличительное стекло круглого окна, напоминающего иллюминатор, странным образом преломляющего эту дорожку и фокусирующего её в рыжие языки пламени, лизавшие уже половину дома. От пламени бенгальскими огнями летели искры в направлении серебристых деревьев, закованных в ослепляющую корку льда...

Это ощущение фантазмагории сгорающего дома и жизни, полыхнувшей как спичка, причудливо изогнувшейся, перед тем как обратиться в пепел, который кто-то свыше просто разотрёт пальцем и смахнёт с ладони, хотя пожар шутя растопит оледеневшие души, готовые к долгой зиме, было настолько реальным, что она приложила холодные ладони к своему пылающему лицу.

Отойдя от картины, она включила компьютер, собираясь написать письмо подруге, вышедшей замуж за чеха, и остановилась. Из всплывшего внезапно окна с веб-страницы на неё смотрело знакомое лицо «ясновидящего» художника, предлагающее предсказать судьбу, «заговорить на любовь», прочесть сны, составить астрологический прогноз и вылечить от запоя.

Неужели все наши розовые сны и смутные надежды, просачивающиеся, как свет в непролазном лесу, где деревья, поднявшиеся из семечек, заброшенных штормовым ветром, оказались столь тесно прижатыми друг к другу, — лишь цирковой трюк специалиста «белой и чёрной магии», зарабатывающего на жизнь смятием людей, у которых почва вдруг ушла из-под ног?

Такой цинковой пустоты у неё не было, даже когда умер муж. Там было оцепенение от таблеток, которыми её накачали; ощущение, как будто всю её обложили синтетической ватой, как ёлочную игрушку; и сознание непоправимого,

налетевшего, как цунами, — и в одночасье смывшего все береговые постройки, среди которых был и её дом. Была невесомость внутри, как при резком спуске в самолёте, и желание проснуться. Надо было начинать жить с нуля, но жить. Самолёт со скрежетом выпустил шасси и катил по взлётной полосе.

Теперь же она сидела у компьютера парализованная, с неловким чувством, что внезапно раскучорила дорогу и уже любимую игрушку, пусть со своими видимыми, но уже стёртыми для глаза изъянами, — и неожиданно нашла там опилки, ржавеющие пружинки из незакалённой стали и грязную вату, свалывшуюся серыми комочками. Починить игрушку было уже нельзя. Игрушка перестала существовать, хотя была в её руках и её можно было потрогать и даже погладить. Слёзы потекли ручьём, остановить их было невозможно. Ощущение такое — как будто разгрызла орех — а вместо крепкого ядрышка нашла там большого и жирного червяка, который лежал в мохнатой черноте. Она промочила насквозь пять носовых платков, нос распух, как вываренная свёкла с облупленной кожурой, в горле першило, ноги сделались ватными и заныли, и больше всего на свете она хотела, чтоб она жила с плотно завязанными глазами.

5

Но это неправда, что нам никто не нужен. Конечно, можно убежать в книги, в работу, в путешествия, но человеческого общения и живого тепла не заменит никто.

«Котика, что ли, завести?» — подумала Светлана. Сейчас у одной женщины на работе как раз окотилась кошка, и она всем предлагала котят, показывая их фотографии. Кошка была персидской, предполагаемых отцов потомства было семь. Котят было четыре: один пятнистый рыже-чёрно-белый; один чёрный, как маленький чёрт; один серый, как варежка из кроличьего пуха; и один, как двуликий Янус — половина кошачьей мордашки была белизны первозданного снега, а половина серая.

Да только куда этого котика девать, когда надо будет уехать куда-нибудь? Потом ему же скучно будет, когда она на работе...

Светлана до сих пор помнит котёнка на даче, что, заблудившись, пришёл к ней однажды на участок. Тот котёнок был домашний. Совершенно ручной и очень испуганный тем, что потерялся. Он так обрадовался, что её нашёл, что почти не давал ей жить. Она не могла ни лечь, ни сесть, чтобы котёнок тотчас не забирался к ней и не устраивался где-нибудь на животе или коленях. Даже когда она, чувствуя, что он безобразничает и мешает работать, садилась вплотную к столу, прилипая к нему животом так, чтобы котёнок не мог запрыгнуть к ней на колени, он забирался на стул сзади неё и тесно прижимался к ней, даря своё тепло и сам греясь о неё. Он не отходил от неё ни на шаг. Она даже не могла в сад выйти: он тут же пулей летел за ней, видимо, пугаясь, что потеряется снова. А ведь он только что опять обрёл дом. Просто пришёл к чужому человеку, как к себе домой, и заставил себя полюбить... «Посмотрите, какой я маленький, смешной, ласковый, милый, очень пушистый и совсем как грелка. Я уже научился ловить мышей и даже танцевать около своей добычи...» Это не она приучила его к тёплым рукам, которые гладили его по шёлковой щётке... Если он, увлёкшись охотой на мышей, оставался в саду, когда она запирала изнутри на ночь дом, то (и откуда у этого крохи хватало соображения?) подбирался по тонким балконным перилам к окну снаружи и начинал царапать в стекло лапой, истошно мяукая до тех пор, пока его не впускали в нагретую постель... Когда она уходила на реку поплавать, ей приходилось его закрывать в доме. Она боялась, что этот привязавшийся до ненормальности увяжет за ней и станет орать на берегу в то самое время, когда она будет наматывать привычные километры по водной глади. Когда же она возвращалась, то он кубарем летел ей навстречу... Однажды перед отъездом в город она ушла купаться в мелкий дождь, понимая, что отпуск заканчивается и дней для её летних заплывов почти не остаётся. Плавала она долго, наслаждаясь лаской воды и свободой от суеты, а этой свободе скоро должен был наступить конец. Потом она медленно возвращалась по размытой глиной дороге, тяжело вытаскивая галоши из засасывающей их жижи и смакуя пейзаж — и вдруг увидела нечто, похожее на окровавленное тело какого-то зверька в глубокой колее, заполненной мутной рыжей водой, по которой только что проехал, видимо,

какой-то «вездеход»... Она, зажмурившись, прошла мимо. На даче из окошка была выбита сетка (её вставляли от комаров). А её любимца не было... Даже перед животными мы бываем виноваты... После того дачного происшествия она в зародыше подавляла в себе желание завести кошку или собачку.

Она всё время торчала на сайте «Одноклассники». Все переписывались со своими бывшими друзьями, одноклассниками, сокурсниками, любимыми. Писали о том, кем они стали и кем они не стали; сколько завели детей; сколько раз развелись; кого похоронили и в каких странах побывали. Делились своими впечатлениями, показывали фотографии своих семей, демонстрировали себя на фоне заграничных достопримечательностей...

Они радовались, что встретились через столько лет, пусть на сайте, а не в жизни (хотя давно можно было взять телефонный справочник и спокойно поговорить по телефону). Но, видимо, «серому экрану» монитора мы теперь доверяем больше, чем разговору «тет-а-тет». Она даже была очень удивлена тем, что и как её бывшие сокурсники теперь писали. В студенческие годы было ведь очень поверхностное общение. Круги на воде... А тут открывались какие-то потайные подводные течения, о которых раньше и не догадывались. Видели лишь придонные тени рыб и причудливое колыхание водорослей. Времени на плавание с батискафом не было — и все переписки в скором времени высыхали, как причудливые медузы, выброшенные штормящей волной на скользкую гальку. И ничего от этих медуз не оставалось. Как не было. Только воспоминания о том, как плывёшь в бирюзовой, почти прозрачной воде, раздвигая руками большие морские звёзды, страшись, что они внезапно тебя обожгут, и наслаждаешься свободой и тёплым течением.

Иногда она смотрела на фотографии из жизни своих сокурсников и их друзей. Это было как подглядывание в замочную скважину. Но ведь их никто не заставлял выставлять на веб-страницах фотографии своих детей, партнёров по браку, любимых и родных; рассказывать о своей работе и досуге. И она пыталась прочитать по нечётким фотографиям чужую жизнь и чужие судьбы, ища в них неожиданный резонанс со

своей. Это — как струны перебирать у гитары... Один неуверенный звук, другой, но вот — и щемяще зазвучала та струна: о том, что сердце заходится от боли, что молодость миновала, а любви — как не было, так и не будет...

Однажды Света наткнулась среди фотографий «друзей друзей» на чёрный профиль мужчины. Этот профиль был, как тени у неё на стене посреди лунного света. И хотя он был статичен и никуда не летел, как тени ветвей, изломанные заходящими в ознобе ветрами, ей почудилось, что он дышит и готов сорваться в лёгком беге навстречу померещившейся любви. Этот профиль был ей знаком, впрочем, он имел вполне реальное, а не вымышленное имя. Его звали Одиссей. Светлана когда-то работала с ним в одной организации, потом он ушёл на кафедру в университет, потом познакомился со своей будущей женой, про которую говорили, что она очень экстравагантная особа. Света видела её однажды. Особа имела ярко-рыжие крашенные волосы, в них вкраплялись чёрные и красные пряди, волосы развевались на ветру и напоминали бушующее пламя, в котором он потом, должно быть, и спалил свою судьбу. Была она в красном обтягивающем ажурном пуловере с вырезом, открывающим два розовых персика, и чёрной майке, которая криво вылезала из-за ворота этого пуловера; на тоненькой шейке её болтался ядовито-зелёный в бурую крапинку, напоминающую крокодилюю кожу, шарф. В общем, дама в синей кожаной мини-юбке с жёлтыми звёздами, имитирующими ночное небо, туфлях с большими рыжими бархатными бантами, в которые стекали ноги в ажурных чёрных колготках, напоминающих рыболовную сеть, запачканную илом или мазутом (в эту сеть она, наверное, и поймала его в один из вечеров...). Особу не заметить было нельзя. Она цепко держала его под руку, вернее, почти повисла на его руке. Говорили, что он уехал с этой особой в Подмоскowie и преподавал в школе, где работала она. Учил детей компьютерным премудростям.

Светлана всегда тайно симпатизировала этому человеку. Это был глубоко интеллигентный человек, немного «ушибленный» увлечением тогда только что входившими в жизнь компьютерами, которые имелись не на каждой работе. О том, чтобы иметь компьютер дома, тогда ещё никто вообще не помышлял. У него была боль-

ная левая рука, ладонь была сухая, узкая-узкая, почти женская, пальцы были — как сломанные повисшие деревянные палочки. Он старался прятать эту руку где-нибудь под столом, под коленом, в кармане мешковатого пиджака. Он был по-своему красив, с правильными, одухотворёнными чертами лица, и очень застенчив.

Она просмотрела информацию, которую он давал о себе на сайте. Из этой информации она узнала, что он восемь лет уже — не в Подмоскowie, а в университете её родного города, что у него взрослая дочь, что он стал доктором наук, что любимые его писатели Борхес, Гессе и Бунин. Особенно сразил Светлану Борхес. Ну кто же не из литераторов будет зачитываться «Маленьким лордом» в нынешние-то времена? Про семейное положение данные отсутствовали.

Ей внезапно захотелось отправить мужчине сообщение. Какое-нибудь. Желание было настолько ясное и сильное, что она его испугалась. Она открыла «Word» и набрала ему послание, дрожа от волнения:

«Бывает иногда такое внутреннее состояние, когда всплывают в памяти лица, вызывающие сожаление, что прошёл мимо них. Приглядывались, присматривались, искали полутона и полутени, здоровались, но издалека. Потом «лови не лови» — не догонишь, всё усвистало безвозвратно. Вот я и подумала, а почему бы нет, коль уж я наткнулась на «всплывающее» иногда в проруби памяти лицо. Рискнула написать. Вы вернулись в наш город?»

6

Света с удивлением обнаружила, что с нетерпением ждёт вечера, когда можно будет посмотреть: ответил ли Одиссей. Он написал. Он её помнит! Он писал, что перебрался в их город, развёлся, похоронил мать, преподаёт и играет во всякие образовательные игры. Она задала вопрос — он снова ответил; на её вопрос «Что за игры такие?» он дал ссылку на свои веб-страницы и сайты, где он бывает. «Я же живу в Сети», — его усмешку она как будто видела. Живущих в Сети Светлана инстинктивно боялась, и это его сообщение расстроило её почти до состояния, когда слёзы наворачиваются, как сок из прокушенной солёной помидорины. Ну вот, ещё один орешек,

который разгрызать, наверное, не стоит, чтобы не было разочарования...

Но орешек разгрызен пока не был, он манил своим белым молочным крепким тельцем, оперённым в зелёную юбочку папуаса. Орешек хотелось попробовать на зуб и вкус. Госка налетала внезапно, как летний ливень, приносящий ветер перемен.

И она с удивлением для себя обнаружила, что стала ходить по этим веб-страницам, на которые он ссылался. Она никогда не жила в Сети и чувствовала там себя довольно неудобно. У неё рано или поздно от всего тамошнего мельтешения, похожего на пушенное по ветру конфетти, начинали краснеть и слезиться глаза, голову сдавливало тугим обручем, вызывающим тупую боль; незаметно подкрадывалась тошнота, сопровождающаяся серой пеленой или роем чёрных и блестящих мушек в глазах, которые плотной завесой застилали экран монитора. Она мало там поняла, на этих веб-страницах. Разговоры были на профессиональном сленге и часто на английском языке. Она узнала, что Одиссей пишет книгу об использовании сетей для образования, ищет спонсоров, работает экспертом в сетевых сообществах «Google» и «Intel». Переводит какие-то «скетчи», выбивает — и успешно — гранты, бывает на конференциях в Америке, Англии, Германии, Канаде, Японии, Мексике.

Однажды она попала на веб-страницу, полную завораживающих фотографий, сделанных им. Природа, родной город, другие страны, в которых он побывал... Все фотографии были либо сумеречные, в лучах западающего солнца, оранжевого, как спелый перезрелый апельсин, или розового, как налив, или пурпурного, как залежавшийся гранат, либо по ним скользил, прокладывая таинственные мерцающие дорожки, лунный свет. Но тревоги в них не было. От них веяло какой-то романтикой из юности, когда заходящее солнце было ещё не для нас — просто хотелось бежать по этой розово-перламутровой морской дорожке куда-то за горизонт, туда, куда ныряет огненный шар, плыть в неизвестность долго-долго — пока не иссякнут силы, а сил тогда было ещё достаточно, чтобы горы свернуть. Свет лился сквозь листву на его фотографиях — такой мягкий, чарующий, завораживающий, и казалось, что луч солнца устраивается у тебя на лице, сушит дорожку от слезы на нём. Если и ложились

на лицо тени, то это были тени от листвы, и отражали они только бег твоих пока ещё, как облака, лёгких мыслей. Вся жизнь лежала впереди. Она не была прекрасна, но она была впереди и была удивительна, многое можно было успеть, надо было суметь кем-то стать. На фотографиях сербрился серый шифер океана, который она никогда не видела живьём и который, наверное, уж никогда не увидит.

Светлана послала свой вопрос о том, что он делал у этого океана. Одиссей ответил, что там был симпозиум, поездку на него финансировали люди, с которыми он общается через Интернет, а для них он делает необходимую им работу. «Там было очень холодно и одиноко, а потом приехали мои старые друзья — и стало тепло». Это было сказано так, что она будто почувствовала его сиротство в чужом городе, в чужой стране, где говорят на чужом языке, который ты хоть и понимаешь, но твой-то «птичий язык» не понимает никто. Ты бродишь невидимый в разноцветной толпе, где на ходу жуют сэндвичи, пьют кока-колу и потягивают сигары. Твоя страна далеко, но ждёт тебя там только дочь, да и то — их встречи обычно скомканы, обрывочны и редки. Распахивать душу дочери он не мог и права даже такого не имел, наверное... Родители умерли.

Теперь Света знала некоторых его друзей в лицо. И даже некоторые его мысли, которыми он делился с этими друзьями: «Никому не интересен мой глубокий внутренний мир, кроме двух офицеров госбезопасности, но я подозреваю их в неискренности».

Она послала ему коротенькое послание: «Ну что вы! Мне ваш внутренний мир даже очень интересен. А что вы делали в Париже?»

Одиссей: В Париже у моей Доры — студенческие друзья: подружка замужем за французом, который здесь какое-то время учился. Мы у них жили. Там было довольно тепло и зелено.

«Кто же эта Дора, любопытно было бы знать?» Она зашла сначала на одну страничку этой Доры, потом на другую, потом на третью.

Ей было всего 27 лет, ему 50. Сначала она думала, что это подруга его дочери, в графе «семейное положение» у неё стояло «помолвлена», и его дочь числилась у неё в подругах. Потом решила, что это и его подруга.

Она узнала, что Дора эта училась в школе сначала в каком-то городке с бурятским названием, потом в Красноярске, окончила в Москве заочный юридический факультет и поступила на другой, платный — туризма и гостиничного бизнеса; что она неплохо знает английский и немецкий языки, а также иврит. Дора читает детективы и фэнтези, предпочитает иностранные комедии и боевики. Увлекается футболом, хоккеем, игрой в бильярд и сетевыми сообществами, а также танцами и разной музыкой. Любимым её изречением было: «Все суки, кроме маман». В графе «о себе» стояло: «энергичная и сильная».

<http://www.odnoklassniki.ru/>

Светлана: В Новый год тепло и зелено?

Одиссей: Ну, относительно тепло. Но снега до Нового года не было, и трава лежала зелёной.

Светлана: Просто у вас, наверное, было эйфорическое романтическое настроение. Сказочный чужой город, карнавал, молодая любимая женщина, ожидание чуда, всё — в пёстрой мишуре, мигающих разноцветных лампочках и бегущих строках (как иногда и в жизни), от которых принималась вращаться улица — начинали прорастать крылья, казалось, что вся лучшая жизнь впереди, а ты молод и глуп...

Одиссей: Да нет — не было у меня романтического настроения ;)

Светлана: Я плохо разбираюсь во всех этих схематических обозначениях оттенков человеческих настроений. Смайлик ваш, он что обозначает: улыбку сквозь печаль, печаль сквозь улыбку или что-то иное? Что же вам мешало радоваться? Рюкзак жизненного опыта за плечами? Сознание, что пытаешься вскочить с перрона на подножку уходящего поезда — и не запрыгиваешь? Поезд всё набирает и набирает скорость, и ты опять неловко пытаешься впрыгнуть в последний вагон. Бег от внутренней дисгармонии и разобранности? Чувство, что говоришь как сквозь бронированное стекло: твои слова отражаются — и тебя не слышат, даже если ты пытаешься кричать очень громко? А у меня вот всё равно от поездок возникает какое-то чуть эйфорическое чувство праздника, хоть и знаешь, что скоро придётся возвращаться.

Больше писем не было. Она каждый вечер заходила на свою страничку с сообщениями. Увы... И опять возникло странное чувство потери, хотя и приобретения-то никакого пока не было, а было ощущение, как будто утренний густой туман рассосался... Думала, что встретишь яркое, пусть и не очень тёплое солнце, а вышла в хмурый осенний день. Она прождала две недели и зачем-то опять послала сообщение.

Светлана: Ну вот! Я вас, кажется, испугала. Или вы испугались сами себя. Не пугайтесь. Я птица вполне безопасная, сродни белой вороне. Чужих гнёзд не тревожу и листву с ветвей для полноты обзора крыльями не сбиваю. Но иногда радостно машу крыльями, увидев птиц, возвращающихся домой с юга...

Одиссей: Да нет, просто замотан, загнан и очень устал за последние дни — вечером в Москву и там четыре дня каких-то лекций.

Она зашла на какую-то страничку этой Доры с её обширной подборкой фотографий; посмотрела на её многочисленную родню в Красноярске, выяснила, что Дора — из многолетней семьи, которая почему-то фотографировалась исключительно в застольях; поглядела на её друзей — в основном молодых и весёлых, на саму Дору в обтягивающих мини-юбочках, красиво расpiraемых полноватыми ляжками, и незатейливых маечках на бретельках, под которыми бугрились две мягкие груши. Светлана вдруг подумала о себе, стареющей: «Тебе ли тягаться с молодостью, с её нынешней наглостью и бесцеремонностью, с молодостью, что спешит устроиться в жизни любой ценой — и, наверно, права? Жаль, что мы такими не были. Боялись собственной тени. А мужики они и есть мужики — даже самые интеллигентные». Но решила, что всё-таки ответит. В последний раз. И всё. Хватит чужих тайн — и так всё ясно. Не надо ворошить незнакомые гнёзда, пусть даже и наспех слепленные в каменной скале.

Светлана: Да уж да. Состояние замотанности и загнанности, по-моему, это вообще давно уже обычное состояние, с которым если не срослись, то смиряемся. Конвейер работы и быта, когда остановиться и оглянуться (а уж тем более

посмотреть по сторонам) некогда. Ваша хандра — это просто затянувшаяся осень, когда кажется, что весна наступает — с её состоянием авитаминоза, истощения и депрессуки, когда кусты вдруг буйно начинают цвести не в срок, чувствуя ветер с юга, но... не время. Это пройдёт, как проходит всё. Если я могла бы как-то помочь вам выйти из вашего состояния загнанной лошади и «воспарить над суетой» хотя бы своими посланиями, я была бы рада. Да только я ведь сама такая лошадь, но ещё с зачатками крыльев...

Ответа она не получила, да и не ждала его.

7

Не рвитесь в запертые двери, не подглядывайте в замочную скважину, не высматривайте тени на занавесках, проступающие, как пятна протёкших чернил на изнаночную сторону! Не играйте с огнём, даже если этот огонь лишь отсвет закатного солнца, фокусирующегося на прозрачных пресных каплях после грозы и отбрасывающего шальные блики на стёкла. Это нехорошо, неприлично, опасно, чревато изнуряющей бессонницей, печалью на лице и непреодолимым желанием перемен!

Окно изнутри мягко подсвечено лампой с оранжевым абажуром, видны тени от кистей этого абажура, на занавеске проступает то женская тень, то мужская. Это окно как мягкая ладонь, просвечиваемая солнцем. Женская тень маленького роста: она широка и спокойна, как равнинная река в половодье, но и энергична, как река, дарящая свою воду всяким другим мелким руслам, которые пока что только журчащие ручейки по весне; но как знать, не все же хилые ручейки усыхают в знойное лето, некоторые успевают проложить, пробурить в податливой глинистой породе к этому времени свои новые маленькие русла, уже наполняемые другими звенящими ключами.

Мужская тень — полёт птицы, натыкающейся на стекло, но не разбивающейся, а пытающейся пробить эту невидимую ей стену снова и снова, чтобы вырваться из отведённого ей пространства.

Иногда за окном проступают обе тени, которые вдруг сближаются и сливаются в одну, чтобы потом отпрянуть...

Доре совсем не хотелось ехать в Казань. Так было хорошо и весело в Москве у подружки-сокурсницы. Подруга была помешана на обменных программах. Она и мужа себе во Франции нашла по объявлению, а вот у Доры почему-то не получается. В Казань же Дора должна была ехать с компанией друзей, к которым приехали ребята по обменной программе. Этим ребятам из Лондона надо было показать, где учился вождь пролетариата. Она сама вообще-то тоже Казань никогда не видела, но поехала из-за компании. Жить они должны были там у какого-то преподавателя университета, компьютерщика, у него квартира трёхкомнатная — «сталинка» в центре города, на откосе, с видом на Волгу, в наследство от деда досталась, который проректором был. Компьютерщик был тоже доктором наук, ему было под полтинник уже, а он всё играл в компьютерные игрушки с детьми. Родители у него умерли — отец давно, лет двадцать тому назад, а мама год тому назад от рака. С женой он развёлся, так что был сейчас свободный и мог спокойно принимать всяких гостей по обменным программам.

Компьютерщик встретил их на вокзале. У него был старенький УАЗ (господи, кто же сейчас ездит на таких машинах, разве что только — по бездорожью вместо бульдозера!). На нём он и довёз их до своего дома.

А вид открывался — прямо дух захватило! Волга, а по реке — белоснежные теплоходы, медленно плывущие по синеве, как облака; остроносые «ракеты» и «метеоры», пронсящиеся как белокрылые чайки; невзрачные баржи, сливающиеся размытой акварелью с туманной дымкой, поднимающейся от заспанной реки. У Доры вообще настроение было замечательное: каникулы, полная свобода, целое лето впереди.

Компьютерщик был очень высокий, сухощавый, у него с рукой что-то было, он её всё время под столом потом прятал; она была как куриная лапка. И он ею почти не пользовался. Хорошо, что рука эта была левая. У него оказалась такая улыбка! Она словно откуда-то изнутри шла, как у Моны Лизы, и шутил он всё время.

Звали его Одиссей. Дора его тогда спросила, почему у него имя такое странное. Он ответил с какой-то горькой усмешкой: «А у меня роди-

тели большие оригиналы были. Хотели, наверное, чтобы я был повелителем — и вот обрели на вечные скитания. Всё время бываю не там и не с теми».

Квартира у него была огромная, но какая-то вся очень захлапленная и запыленная. Книги и бумаги у Одиссея были везде, они были не только в шкафах, на столах и тумбочках, но просто лежали неопрятными стопками в мохнатом ворсе пыли на полу — и в коридоре, и во всех комнатах. Того и гляди разъедутся все эти пирамиды, высившиеся на столах. И ещё кучи дисков всяких везде разбросаны.

Вообще, этот Одиссей был какой-то очень запущенный и одинокий. Дора к нему сразу почувствовала симпатию, а потом он оказался очень умным. Он что-то такое им рассказывал про сети, это уже потом, когда они и Кремль посмотрели, и как протяжно и печально звенит колокол послушали — с сердцем, дающим перебой, и даже в музей Мусы Джалиля сходили. Она мало чего поняла из того, что он говорил, как и все остальные, но потом он стал показывать, как создаются компьютерные игрушки. Он их сам придумывает. И вот тут стало уже совсем интересно. Это же надо таким умным быть! Она всегда о таких мужчинах мечтала. И чтобы они глупели на её глазах. А потом он был очень интеллигентный. Только она заметила, что он посмотрел на колени её голые несколько раз, но сразу глаза отводил, как только она его взгляд перехватывала.

А вечером они пошли на салют. Это совсем недалеко от его дома. Её тесно прижало в толпе к нему, так тесно, что она спиной чувствовала его мускулистую грудь, а потом он чуть-чуть, слегка, будто случайно, обнял её за плечи и спросил, заглядывая в глаза: «Здорово? Да?»

На звёздном небе то тут, то там оглушающе взрывались разноцветные кометы, рассыпаясь на десятки завораживающих своим диковинным звездопадом осколков, медленно спускающихся на землю по эллиптическим траекториям, напоминающим купол раскрывшегося парашюта, и гаснущих один за другим, не долетев до земли. Тихо таяли и неотвратимо растворялись разноцветные эти звёзды, оставляя за собой светящиеся шлейфы, безмятежно выцветающие в скучный белёсый след, рассеивающийся невесомым дымком. Но уже взорвалась новая ракета — и снова весёлые цветные огонь-

ки бежали наперегонки, будто по связке бикфордовых шнуров... Дора обернулась к Одиссею и увидела, что хвостатые кометы отражаются в его глазах, и один глаз у него стал изумрудно-зелёный, как вода в аквариуме, а другой — светло-коричневый, как осенний лист; а потом один превратился в серо-голубой, как морской прибой, а другой — в жёлтый янтарь, впитавший в себя щедрый солнечный свет.

После какие-то квадратные мужики, пахнувшие потом и сивухой, полезли напролом через толпу поближе к центральной площадке с памятником вождю и снова толкнули Дору к Одиссею. Теперь она уткнулась носом в его грудь, ощутив колючесть овечьей шерсти, массирующей её пылающую щёку пупырышками букле, и сладко вдыхала запах утреннего кофе вперемешку с каким-то чарующим французским ароматом, пугаясь предчувствия, что его правая рука замрёт в оцепенении у неё на талии, спрятанной под мешковатой курткой.

А разноцветные шары всё взрывались и взрывались, как пузырьки в шампанском, ударяя в голову: красный, зелёный, жёлтый, фиолетовый!

Жизнь прекрасна и удивительна. И — вся впереди! А ведь ещё вчера она не хотела ехать в этот старый захолустный город!

Она подняла глаза на Одиссея и снова увидела отражения этих взрывающихся разноцветных шаров. И почему-то подумала, что они похожи на новогодние шарики на ёлке и лампочки на гирлянде, которые то вспыхивают, то гаснут.

А потом поглядела на чёрные ветви тополя, росшего рядом. Листья его стали из чёрных тоже разноцветными, даже не листья ещё, а так... маленькие клейкие, только что проклюнувшиеся листочки. Они тоже были похожи на лампочки в разноцветной ёлочной гирлянде и серебрились с изнанки, как новогодняя мишура, — голубым, зелёным, красным, оранжевым, жёлтым, фиолетовым; они словно светились изнутри каким-то внутренним свечением, как светлячки.

У Доры внутри тоже вспыхивали и мигали какие-то рождественские лампочки, рассыпаясь на сотни блестящих ослепляющих осколков, оседающих на доньшке её души многокрасочной мишурой, которую потом захочется перебирать и рассматривать, чтобы ощутить ещё раз их цвет, в который раз причудливо их разбирающая, как конфетти, а потом старательно сме-

тая и собирая в одну кучку, боясь потерять даже один цветной кружок.

Но когда салют отгремел, темно почему-то не стало. Небо уходило в бесконечность, но вся набережная была подсвечена янтарным светом, который колебался, как фитиль в старинных уличных фонарях; впереди катила спокойная чернильная река, по ней плыли все в ярких огнях, магнитом притягивающих взгляд, большие теплоходы. Было тепло, как летом, а она в Красноярске в это время ещё ходила в пуховике с капюшоном и песцовой шапке. А тут южный ветерок, ласкающий лицо, как мамина ладонь, и свобода! Свобода — реке ото льда; свобода — волосам (она даже не обращала внимания, что те на влажном ветру скрутились в жёсткие пружинки); голым коленкам (к чёрту джинсы!); голосу, который вместе с толпой издавал какие-то победные крики диких зверей и птиц; свобода от уроков, занятий, работы и родителей.

А потом они до утра гуляли по набережной, сидели в какой-то ночной стеклянной кафешке, из которой виднелась Волга, отражающая слезящиеся огни от проходящих теплоходов, маячившие костры на том берегу — как огоньки сигарет, — то разгорались, то гасли, — и мигающий влажным глазом бакен. Говорили много и шумно, перебивая друг друга, на двух языках. Каждый пытался сказать что-то своё, не слыша других. Английские ребята в основном интересовались перипетиями жизни в России, русских больше интересовала жизнь не здесь.

Оказалось, что Одиссей тоже очень хорошо знает английский, он учился в специализированной школе с углублённым изучением языка, а мама у него преподавала на инязе, он два года работал в Бостоне по каким-то грантам, потом ещё часто ездил в Америку и Европу на разные конференции и симпозиумы. Это так здорово! Доре всегда хотелось поехать по миру! А её родители заставили оканчивать этот юридический факультет, говоря, что так она всегда будет при востребованной специальности.

А на следующий день ребята сначала пошли по всяким соборам, а потом катались на трамвайчике по Волге.

Она сидела на палубе с Одиссеем, и ей было с ним так легко и спокойно, только он был уже какой-то мрачный и неразговорчивый. Ей за-

хотелось, чтобы он её обнял, как тогда в праздничной толпе, но он почему-то спрятал не только левую, но и правую руку куда-то под сиденье. Она спросила его:

– Ты что такой смурной? Расставаться жалко?

Он улыбнулся краешками губ, будто тень стирая с лица, и ответил:

– Ага.

– А ты приезжай к нам в Красноярск в отпуск, на даче у нас поживёшь, там хорошо: Енисей, лес. Порыбачишь, грибы пособираешь. Приезжай, я серьёзно приглашаю.

Он ничего не ответил. Опять только улыбнулся, растягивая пересохшие губы.

Улыбался он, как папа. А глаза у него стали зелёные под цвет воды, и отражались в них блики, быстро сменяющие друг друга, как рябь воды за бортом. Глаза всё зеленели, становясь похожими на мигалки кота, загнанного под кровать, который вдруг почувствовал, что где-то за стеной усердно скребётся мышь.

А вечером они с бандой уезжали в Москву, а потом ей надо было лететь в Красноярск.

Шумно веселящейся толпой, на которую все оборачивались даже на вокзале, они погрузились в поезд – все переобнимались друг с другом на прощанье и расцеловались. Дора ощутила лёгкое его дуновение у себя на щеке, обняла за шею, чмокнула в колючую, будто мелкая наждачная бумага, щёку и повторила, заглядывая в опять потемневшие до черноты водоворота глаза: «Приезжай. Я буду ждать».

В поезде она спала плохо. Полночи ребята базарили и пили пиво, окутывающее весь плацкартный вагон запахом перестоявшей браги. А потом, когда угомонились все, Дора лежала на узкой жёсткой полке, которая качалась так, как будто Дора плыла по волнам в каное, слушала монотонный стук колёс, будто рокот волн, с методичным упорством выбрасывающих гальку на берег, и купалась в блуждающих по полке равнодушных лучах встречных поездов и станций. Свет мелькал у неё на стене, холодил ей щёки и лоб, пропадал, появлялся снова, и она подумала, что так вот, наверное, будет вся жизнь: полоса светлая, полоса тёмная. Полосы бегут наперегонки, догоняя и обгоняя друг друга, тревожа или радуя предчувствием новой полосы. Сейчас в её жизни была полоса не только светлая, а вооб-

ще радужная, но будет ли так всегда? Нет, не будет. Она это знала уже. Но ведь в её силах моделировать свою жизнь. Менять её вкус, густо лить цветные краски и распылять тонкие ароматы... Как весело стучат колёса, словно барабанные палочки выбивают чечётку. Жизнь прекрасна и удивительна! И ещё целая неделя у неё в Москве!

В первопрестольной Дора снова ходила по друзьям, кафе и магазинам, гуляла по шумным и суетным улицам. Она почти не вспоминала Одиссея среди этой круговерти. Разве иногда по ночам всплывало его грустно улыбающееся лицо, будто растерянно пытающееся припомнить что-то почти совсем забытое, но, как оказалось, бережно хранимое на донышке коллодца памяти под застоявшейся водой; да ещё её старенькое верблюжье одеяло вдруг начинало пахнуть овечьей шерстью его пуловера крупной домашней вязки.

9

А в Красноярске началась весна. Льды медленно плыли по Енисею, то и дело прищвартовываясь друг к другу, сталкиваясь обломанными и быстро оплывающими слепящими боками, не в силах поделить течение реки, группируясь в километровые ледяные заторы и нехотя разбегаясь в разные стороны, освобождая серую проталину воды, в которую смотрелось день ото дня смелеющее солнце. По тротуарам наперегонки бежали полноводные ручьи, весело звеня и унося с собой прошлогодний мусор, будто кораблики, заботливо сложенные детской рукой. Под крышами стало страшно ходить: с них свисали такие огромные сосульки, что, оборвись они, останется о тебе лишь воспоминание. Дора ещё помнит случай, который произошёл у них два года назад. Целая ледяная крыша в мгновение сорвалась, накрыв с головами четырёх прохожих.

Весна всегда мучила нестерпимо. С весной приходили маета, желание перемен, в погоне за которыми хотелось сорваться в лёгком беге молодого тела и лететь навстречу счастью, ловя свежий ветер оттаявших снегов, дувший с Енисея. Он был уже совсем не холодный, а пьянящий какой-то, как сухое холодное шампанское, пузырями ударяющее в голову. А она и жила уже в ка-

ком-то внутреннем чаду, для него не было пока ну никаких оснований, просто очень хотелось любви и изменений в своей жизни, которая снова вернулась в давно наезженную колею, когда Дора по восемь часов в день разбирала всякие бумажки с жалобами и судебными исками.

И где ж их взять, перемены-то? В один из вечеров, когда уже сошли все закопчённые снега, трава ещё не проклюнулась, но земля набухла, пахла прошлогодней прелой листвой и повсюду в садах сжигали прошлогодние листья; когда ветки ещё торчали чёрными прутьями и рисунок их теней был чётко, но на них уже заметно набухали почки; когда уже начали открывать первые окна и балконные двери, а Доре было почему-то так одиноко и грустно, она послала Одиссею по электронной почте маленькое письмо: «Привет! У нас уже тоже весна, скоро появятся листья и трава, а потом и ягоды, и цветы. Всё время вспоминаю свой приезд в Казань. Ты помнишь, что обещал приехать? Я покажу тебе белых медведей... или бурых хотя бы. Я скучаю по тебе. Очень. Очень».

Она будет решительна. Надо уметь от жизни брать всё. Хватит этого севера, этой пристальной матушкиной опеки... Вперёд — в новые города и неизведанные страны!

10

Человеку свойственно совершать иногда непредсказуемые поступки. Если бы ему сказали полгода назад, что он отправится в это сомнительное путешествие к еврейской девочке по имени Дора, которая лишь чуть старше его дочери, а по возрасту могла бы быть и его ребёнком, женись он рано, он бы пожал плечами, покачал головой и сказал, что это приближается почти к невозможному: «Он педагог, а не педофил...»

Он женился в 29 лет, к этому времени большинство его ровесников успели обзавестись маленькими существами, в чём-то уже чуть-чуть похожими на них. По своей природе он был интеллигентен и робок. Вокруг него все годы учёбы и работы было полно красивых и умных девушек. Он, конечно, выделял из разноцветной клумбы отдельные создания, но как-то про себя... Внешне он даже боялся, что его интерес заметят: осудят, осмеют или ещё того хуже — будут

ревновать друг к дружке. Он очень стеснялся своей руки, повреждённой в родах. Ему всегда казалось, что женщины видят только эту руку. Ему казалось, что она пугает его сокурсниц и молодых коллег и они специально отводят от неё глаза, так как боятся на нее смотреть. Отчасти из-за этого он опасался сближаться с теми, кто ему нравился и без которых день обесцвечивался, будто при титровании в аналитической химии: эти реакции ему всегда очень нравилось наблюдать. Так и жил в маске, старательно пряча под ней желание иметь рядом подругу, с которой бы пересеклись навсегда, а не мимолетно, боясь соприкоснуться даже дыханием... Он инстинктивно, опасаясь боли, старался обходить женщин стороной, хотя природа брала своё — и он чувствовал, что этот круг монашеского затворничества надо разрывать. Потом ему всегда хотелось иметь рядом с собой не только красивую женщину, но и умную. Красивую — это, наверное, больше не для себя, а для чужих глаз, чтоб никто не видел его скукоженную руку, а если и замечали, то всё равно завидовали тому, что рядом такая яркая женщина. А умную — это уже для себя, он себя уютно чувствовал только с умной, когда можно было понимать друг друга с полуслова. Это неправда, что мужчины не любят умных женщин, ему только с умными и интересно было. Не любит же умных тот, кто боится, что ему придётся вставать на цыпочки ради такой. А жить хочется в стоптанных домашних тапочках...

Женился он быстро, скоропалительно даже. Они познакомились в поезде по дороге с юга. Будущая жена была его коллегой, но работала учительницей в городе Коломне. Отец у неё служил заведующим гороно, а мама — завуч. Жена его не обладала классической красотой, но она была вызывающе яркая. Огненная. У неё были огненно-рыжие волосы. Наверное, он и запутался в их медном отливе, пахнушем раскрывшимся пионом. Теперь он терпеть не может пионы: расхристанные, с незаметно увядающими лепестками, но хитро не осыпающиеся — до момента, когда их попытаешься сорвать. А там раз — и нету пышной шапки. Одна лишь голая зелёная головка завязи. Запутался в её огненных волосах, утонул в её лисьих зелёных глазах. Полыхнул — и сгорел. Что толку бродить по пепелищу?... Позднее она сказала ему, что ей было очень одиноко и никакой выход из одиночества не светил ей даже

тусклым фонариком в их плоском городке, где полгорода знали друг друга в лицо.

Когда она позвонила ему и сказала, что у них будет ребёнок, он бросил работу в университете, умирающего от инсульта отца, благо тот его понимал всегда и понял на этот раз, и уехал учительствовать в Коломну. Произошло всё стремительно, и он уже сам удивлялся, что женат, что его жена ждёт девочку и что работает он простым школьным учителем в маленьком провинциальном городишке.

Жили они поначалу неплохо. Родилась девочка Даша, в которой он души не чаял и не чаёт до сих пор. Первые два года они вместе с женой сидели над кроваткой ребёнка, он варил всякие каши и смеси, стирал пелёнки и пеленал худенькое тельце.

Потом девочка долго оставалась дома либо с ним, либо с тёщей. Жена жила какой-то своей отдельной жизнью с многочисленными визгливими подругами, частыми вечеринками, с которых она возвращалась почти всегда под утро, с безалаберными туристическими вылазками на уик-энд со старыми друзьями. Он приходил из школы, молча готовил ужин, кормил Дашу, читал книжки или играл с дочкой, а затем пропадал в виртуальной реальности, сначала просто плутая в лабиринте сайтов, а затем всё больше увлекаясь организацией компьютерных сетей и задумками приспособить их для детских развивающих игрушек.

В сущности, он понимал жену. Он тоже задышался в маленькой Коломне, где всё как на ладони: одни и те же люди и на работе, и дома. Ему тоже всё чаще хотелось сорваться куда-нибудь. Он и срывался: в Москву, в библиотеку писать диссертацию, на детские слёты и викторины, на конференции с докладами по компьютерным развивающим играм для детей, которыми не на шутку увлёкся.

Затем у них начались бесконечные ссоры из-за денег. Зарплата учителей еле позволяла сводить концы с концами, хотя преподавали они в лучшем в городе элитарном лицее. Он чувствовал, что стал раздражать тестя и тещу своим неумением заработать, которые отстёгивали своей дочеринные суммы из своих кошельков, покупали Даше вещи и отправляли её в пионерлагерь, а жену в турпоездку или санаторий. Нет, они никогда не упрекали его, они знали обстановку в школе, они

просто думали, что их единственная дочь была, наверно, достойна лучшей судьбы, чем мужа, живущего в виртуальной реальности.

Лучшая судьба вдруг нашлась. Эту судьбу даже не думали от него скрывать. В Казани заболела его мама, рак был неоперабелен. Он перебрался в Казань в сталинскую квартиру на откосе — полтора года прожил с мамой, вернулся в госуниверситет и, наконец, защитил кандидатскую. Докторскую он защитил три года спустя после кандидатской, когда ему уже выдали свидетельство о разводе, а мама умерла. Умерла она стоически, почти совсем его не измучив. До самого последнего дня держалась на своих варикозных ногах. Только таяла на глазах, становясь жёлтой, как запечённое яблоко, и плакала втихомолку. Он знал, что она плакала в подушку, сдерживая своё сбивающееся дыхание, по её покрасневшим конъюнктивитным глазам, испещрённым красноватыми прожилками; впадинам синяков под глазами, напоминавшим маленькие лужицы от женских каблучков, образовавшиеся на подтаивающем тротуаре по весне; лиловым обмётанным губам, подрагивающим, как крылья высушенной бабочки, наколотой на булавку. И болей у неё почти не было. Только две последние недели кололи ей морфий. Сначала он вызывал «скорую», потом договорился со знакомым врачом, что будет делать уколы сам. Искал синенький ручеёк её вены, когда она начинала часто-часто моргать и кусать запёкшиеся губы, покрытые коричневой коростой и белой слизью, похожей на непрожёванный творог. Последнюю неделю она ослабела настолько, что до туалета добиралась по стеночке. Прилипала, как тень, к стене и передвигалась маленькими бесшумными шажками. Уже сама смерть, уже не здесь...

В последний день мама попросила его нагнуться и погладила по голове. Он задохнулся от кислого запаха немытого, когда-то пахнувшего молоком, пирогами, цветочными духами, а теперь угасающего тела; оторвался от её груди, выбежал из комнаты, и слёзы горохом посыпались у него из глаз. Как человек всё же слаб, беспомощен и одинок! И никто, даже родная кровь и плоть, не могут разделить его одиночество. Отец вот даже умер без него. Он приехал, когда тот уже лежал на столе. У него до сих пор болит то место, где мама взъерошила, а потом погладила вихры у него на макушке.

После смерти мамы он оказался в этом мире как бы один, в пустоте, в вакууме, по законам физики в этот вакуум должно было втянуть первого попавшегося на его пути, но законы физики вдруг перестали работать.

Он знал, что возмужал, изменился, оперился и похорошел, приобрёл опыт, и теперь многие женщины находят в нём шарм; немало было таких женщин даже среди его коллег или тех, с кем приходилось встречаться на конференциях, ставших теперь многочисленными. Он сделался раскован, свободен не только внутренне, но и в общении, был остроумен. Он чувствовал, что некоторые из его знакомых женщин приглядываются к нему как к потенциальному мужу, но теперь он почему-то пугался этого. Он по-прежнему стеснялся своей руки и инстинктивно прятал её под стол, но рука его теперь уже не удерживала от близости с женщиной.

У него было несколько подруг, но отношения с ними носили необременительный характер, и он уже подумывал, что образ жизни холостяка — это наиболее благоразумно и безболезненно при его маленькой зарплате, увлечённости работой и путешествиями, возможность и прелесть которых он открыл для себя в последнее время. Казань стала открытым городом, в город стали пускать иностранцев, а обладание трёхкомнатной полнометражной квартирой в центре города наряду с его хорошим знанием английского давало ему неоспоримое преимущество для активного участия в обменных программах. Он стал принимать у себя ребят из зарубежных стран, а сам получил возможность сопровождать группы студентов по обмену в дальнее зарубежье.

Кроме того, почти круглосуточное сидение на сайтах с поисковыми программами, активное участие в дебатах по организации этих сайтов сделали его завсегдатаем во многих зарубежных интеллектуальных клубах, он приобрёл даже международную известность в определённых кругах, его стали приглашать на крупные международные симпозиумы и конференции, жизнь приобрела новую окраску, в которой не было места полутонам, а все тени стали резкими.

Он и на Енисей, пожалуй, рванул просто с целью посмотреть Сибирь, с желанием просто оттянуться, оторваться от работы и от виртуальной реальности.

Его, пожалуй, ничем особо не зацепила эта ев-

рейская девочка, к которой он ехал. Она, конечно, была не глупа, знала языки, утверждала, что целеустремлённа. Их сближало желание поехать и посмотреть мир, но он плохо понимал это поколение, которому надо было всё и сразу, которое готово было идти на таран любых бетонных стен, пользуясь своей молодостью; оно пугало своим умением не рефлексировать, чего у него самого никогда не получалось. Он фактически каждый день видел таких девочек у себя в университете. Среди них были, конечно, и тихие отличницы, совершенно домашние создания, но большей частью — вот те, что со смехом вваливались на занятия, когда он уже вовсю читал лекцию, обдавали его шлейфом французских духов, который должен бы тянуться за воланами и оборками длинных летящих юбок, но вот почему-то витал вокруг голого, вылезающего из джинсов живота с грязноватым пупком. Некоторые даже разрисовывали этот пупок диковинными нынче столь модными картинками. Его Даша была более романтической девочкой...

Его удивляло и то, с какой лёгкостью эти девичьи меняли молодых людей. Многие из них жили третьим, четвёртым, как это сейчас называется, «гражданским браком», просто объединяясь на одной съёмной квартире с очередным молодым человеком или приводя к папе с мамой на два-три месяца очередного бойфренда, которого родители должны были ещё и кормить.

Итак, Дора позвала — и он сорвался в охмеляющем полёте, забыв про возраст. Насмотрелся присланных фотографий, красот. Если бы не было всех этих электронных почт, «vkontakte.ru», «odnoklassniki.ru», «vspomni.ru», «mirtesen.ru», разве получилось бы так быстро его уговорить поехать? Пока письмо дойдёт... А там глядишь — и интерес угас, как свеча, накрытая колпаком.

А потом, раз зовут ещё молодые, значит, ты ещё молод душой. Можно окунуться с головой в их юность, не помня про возраст, вскочить в вагон на подножку уже уходящего поезда, который всё набирает и набирает скорость. Вот он и вскочил, и рванул назад — в свою провороненную молодость. Нет, это неправда, что можно вернуться. Если бы нас можно было бы свести с нами теми, какими мы были 20-30 лет назад, мы едва ли узнали бы и поняли бы друг друга...

Он ехал, устроившись на верхней полке,

смотря на пробегающие мимо перелески и воду, поблескивающую то там, то здесь в озерах и речушках, отражающую полёт облаков, мчавшихся, как и он, в неизвестность, навстречу другой и, должно быть, более счастливой полосе жизни. Розовые отсветы заката скользили по верхушкам пробегающих мимо корабельных сосен, убегающих высоко в синеву; цеплялся, запутывался в их глубоких мохнатых кронах и оставался позади; но впереди из-за очередного бугра выныривали новые сосны, уходящие в поднебесье, и розовый свет, становясь всё сочнее и тревожнее, скользил уже по ним.

...В его ли возрасте смотреть на жизнь сквозь розовые стекла, даже если тот розовый — это отблеск солнца, покотившегося на запад, чтобы через час упасть в плотную серую пелену на горизонте — и пропасть, уступив место другому, холодному и безжизненному светилу?..

11

Дора до последнего дня не верила, что Одиссей согласится отправиться к ней в гости. Она бомбардировала его письмами и фотографиями. Говорила, что грустит и скучает. Она не могла пока ещё дать ясного отчёта себе, почему ей так хочется, чтобы приехал этот длинный компьютерщик, похожий на одноногого аиста, только аист этот поджимал не ногу, а левое крыло...

Приехал всё-таки! Неделя пролетела как в карусели, всё вокруг крутилось, вертелось, несло куда-то наперегонки, всё убыстряя и убыстряя ход размеренных событий... Она показывала ему город, они катались на катере, рыбачили, собирали грибы и говорили.

Говорили ни о чём. Она знала за собой эту манеру подкалывать мужчин, которые отвечали ей тем же. Как сражение на рыцарском турнире, как игра в фехтование. Кто изящнее сделает выпад и ловчее отобьёт выпад другого.

Он заглядывал сверху вниз в её глаза, она смеялась и трогала пальчиками с обгрызенными ногтями его морщины, бегущие как солнечные лучики.

Потом они поехали к ним на дачу. В воздухе стоял одуряющий запах земляники, им пропиталось всё. Идешь по некошеной траве, а голова

кружится от счастья и этого земляничного запаха. Нагнёшься — а там только садись на корточках и собирай: не сходя с места наберёшь полное лукошко. Но она уже и не наклонялась совсем. Нагибался он, складывал букетик из кустиков, усыпанных блестящими красными ягодами, среди которых терялись один-два нежно-белых соцветия с жёлтой пуховкой посередине, и подносил ей: «Позвольте, сударыня».

А как волшебю валиться на некошеной траве, ловить дуновение ветерка всей шёлковой кожей, чувствовать, как волосы треплет ветер, закрывая ими воспалённые от солнца и воды глаза! Можно смотреть сквозь волосы на полёт облаков, тогда всё небо становится исчиренным чёрными неровными полосами, сквозь которые скользят облака, ежеминутно меняя свои причудливые очертания. Вот и жизнь так, наверное... Полоса тёмная, полоса светлая, но тёмные полосы тонки и только наслаиваются на голубое небо, на котором два разрозненных облака — одно вытянутое, а другое кругленькое, как пампушка, медленно сливаются в одно и дальше плывут уже как одно большое единое и неразделимое облако.

Так и в жизни, наверное. Вот только что не знал человека, не любил и не собирался любить, а вдруг налетел ветер, всё перепутал, и теперь боишься уже человека потерять и не представляешь, что дальше делать со своей жизнью.

И этот лунный свет, когда луна заглядывает в окно, как надраенная сковородка, на которой бабушка пекла блины. Луна такая большая, что занимает пол-окошка. Даже как-то нереально, что луна бывает такой большой. Весь пол около кровати устелен тенями веток с маленькими завязавшимися яблочками, которые купаются в этом лунном, завораживающем сказочном свете, качаются от лёгкого дуновения ветерка, а тени двух яблочек вдруг сливаются неожиданно в одну.

Вот на ветки на полу вдруг наползает большое облако тени, но луна по-прежнему нахально и гипнотизирующе смотрит в окно. А вот уже лунный свет, столь пристально заглядывающий в глаза, закрывает тёплая мужская ладонь. «Ну что ты? Ты боишься меня?» Нет, она ничего не боится, она сама так всё придумала и захотела, а холодный лунный свет тут ни при чём.

12

Светлана зашла на сайт, на котором Одиссей хранил свои фотографии, и поняла, что полгода тот жил в Атланте у океана. Океан уходил далеко за горизонт, оставляя блестящую, словно рыба чешуя, дорожку на своей поверхности, по которой можно было долго бежать в неизвестность на самый краешек земли. Океан катался у ног Одиссея, завораживал драгоценной бирюзой, впитавшей в себя столетия, манил, чаруя вздымающимися гребнями волн, белёсыми, точно снег на вершинах гор, в них можно было шагнуть шутя и раствориться без остатка воспоминаний о прожитой жизни. Набегающая волна накрывала с головой, а потом с шумом, быстро, не давая опомниться, поднимала на пенящийся гребень, а затем снова кидала в пропасть — и ты, давно потеряв дно под ногами, переставал видеть и бесконечную синеву неба, и размытую кромку горизонта, что становилась будто нарисованная детской рукой акварель. Одна лишь океанская вода, изумрудная и полупрозрачная, которая кидала тебя лицом так, что ты мог видеть, как аквалангист через прозрачную маску, замысловатые абрисы водорослей и проплывающих мимо рыб. Так и в жизни, наверное, нам видны лишь смутные силуэты нашего будущего — и никогда не знаешь, когда и куда вынесет тебя на берег. Он подумал, что зря, наверное, родители назвали его Одиссеем. У него не было Пенелопы. Были лишь гигантские сети Интернета, в которые он попал ещё в юности, когда всё ещё только начиналось. В этом океане звучал уводящий и чарующий голос сирен, увлекающий его в завораживающие полёты фантазии, которые реализовались потом в детских игрушках. Тысячи подростков инсталлировали их на свои компьютеры и вслед за учителем отправлялись бороздить интернетные пучины.

Потом Светлана стала искать девочку Дашу по фамилии Светличная. Даша окончила музыкальную школу по классу «флейта», пять лет училась в художественной школе и занималась в фотостудии.

На странице дочери Одиссея были в основном одни фотографии.

Все фотографии были чёрно-белые и напоминали летящий профиль Одиссея. Там было несколько снимков актёров театра теней, вер-

нее, теней актёров на стене. Из остальных картинок просто был изъят свет. Отфильтрован в «фотошопе», наверное. Серо-чёрные фотографии. Детали размыты и смазаны, как будто снимали из поезда жизни, проносающегося мимо; оставалась лишь суть. Но именно поэтому и видно было, что суть наша совсем не неподвижна. Она постоянно перетекает из одного в другое, как вода, как шелест ветвей, сопровождающих колебания листьев — сначала по весне всё вырастающих в своих размерах, потом становящихся всё суше и тоньше, с частицами налипающей серой пыли и, наконец, просто парящих на ветру и гонимых им в непредсказуемом направлении. То, что вчера казалось достижением, подарком, радостью, гармонией, сегодня оборачивается сожалением, горечью, болью, потерей и крахом. Странно... Эта девочка видела в 17 лет жизнь в чёрно-белом свете, во всём её контрасте и непрекращающемся полёте. Без цвета всё становилось яснее и рельефнее... Неужели и это была иллюзия? И бессонный ветер обязательно рано или поздно должен был перепутать всё снова?

13

Как странно мы устроены... Если бы Одиссею год тому назад сказали, что он поселит в своей квартире девочку чуть старше его дочери, совсем не в его вкусе (ему нравились домашние девочки и женщины, про которых говорили, что в них есть «тонкость»), девочку, что несла в себе кровь народов Иудеи и росла в многодетной семье с цепкостью сорняка, готового пустить корни там, где бросят, девочку, что жила в далёком северном городе, не имела пока работы и никаких видов на другое местожительство, как на его жилплощадь, он бы пожал плечами и сказал, что с ним этого быть не может. На одни и те же грабли дважды не наступают, тем более что эти грабли не таясь торчали из прошлогодней листвы зубьями вверх. А теперь он уже скучает без неё — и пропади она из его жизни, он, несомненно, ощутил бы, что в его жизни образовалась пустота, которую плаванием по Сети было никак не заполнить.

Она просто приехала снова в гости, сказав, что работы у неё всё равно нет, она будет искать и

квартиру, и работу, а пока, может, он разрешит пожить у него? Ведь комнат у него много. Пожалуй, он даже был рад приезду этой девочки, она вносила в его отупленную жизнь холостяка хаос, который оказался ему почему-то нужен.

Да, умом он понимает, что ему просто нужна была женщина. Её молодое тело приручило его к ней, хотя до сих пор он не знает и не отдаёт себе отчёта, как всё это произошло.

Просто опять была весна. Он чувствовал себя точно на разломе. Весна приносила перемены, а перемен почему-то не хотелось. Он привык долгими часами, которых никогда не замечал, днями и даже ночами сидеть за компьютером. Это была его работа, его стихия, его боль. Он привык срываться в частые командировки, захватив с собой лишь ноутбук и дипломат. Он привык бегать по утрам и вечерам трусцой по набережной, пытаясь сохранить молодость души и тела. Убегал ли он от инфаркта? Нет. Просто ему надо было после многочасового сидения размять онемевшие мышцы, он чувствовал, что они вдруг становились гуттаперчевыми и пружинили, подбрасывая его начавшую уже уставать душу, как мячик на резинке, возвращая свежесть мысли, растворяя боль в висках и тоску, всё чаще тревожащую частым настырным стуком сердце. Молодость миновала, он ни о чём не жалел. Стоит ли помнить о песочных замках, разрушенных даже не от ветра, а от того, что ушла живительная влага, которая их держала? Стоит ли искать белый след от самолёта, с рёвом пролетевшего над головой и уносящего твоих близких от тебя всё дальше и дальше, след, на глазах растворяющийся в синеве? Стоит ли вглядываться в черты твоего ребёнка и пытаться узнать себя тогдашнего? Беги не беги, не воротись, не догонишь, усвистало безвозвратно.

А он всё же запрыгнул на подножку уходящего поезда и, пожалуй, даже тешил себя иллюзией, что счастлив. Когда он говорил друзьям и стареющим подругам «моя Дора», он как-то шире становился в плечах и даже уже совсем не убирал в карман свою руку с барабанными палочками, которую невозможно было сжать в кулак. Он уже начинал думать, что это судьба, не догадываясь о том, что никогда ещё так далеко его не заносило в сторону от судьбы, предназначенной свыше.

Всего лишь снова южный ветер принёс весну. И опять луна заглядывала в окна, тревожа и бу-

доража его сон. Луна была бледна и напоминала нож, которым на даче мама любила чистить рыбу; нож был весь в рыбьей серебристой чешуе, и она летела на пол, на стол, на чёрный экран монитора, на свалывшуюся от мотания головы подушку, распространяя странное серебристое свечение, похожее на северное сияние. И эта чужая девушка тоже казалась русалкой в чешуе, неизвестно зачем посланной ему Всевышним.

Он не собирался оформлять отношения, сознавая, что они могут и не быть долговечными, он просто теперь жил как получится, одурманенный запахами весны. А девушка на своей страничке в графе «семейное положение» написала: «помолвлена».

Он всё так же уезжал в свои командировки и сидел за компьютером. Но Дора приходила, властно садилась на колени, закрывала сначала тёплой шёлковой рукой мышь, а потом его глаза, словно скользила по ресницам и зажмуренным векам шифоновым платком.

Больше всего его расстраивало то, что она не понравилась Даше. Он успокаивал себя, что это женская ревность, причём ревность, помноженная на то, что Даша была единственной наследницей его трёхкомнатной квартиры, дачи и старенькой машины. Но он знал и то, что Даша и Дора — как две стихии. Даша — воздух: лёгкие платья, рюшечки, оборочки, потупленные глаза, тонкокожесть во всём. Сама женственность. Дора была вода, причём вода, обрушившаяся с грохотом со скалы ему на голову, подхватившая его своим течением, сметающая всё на своём пути, что бы могло ей помешать вмещать его в себя. Эти две стихии никак не могли воспрепятствовать существованию друг друга, но воздух мог раздувать огонь, а вода в силу своей снисходительности к младшим и осмотрительности пока пыталась его гасить, потихоньку буравя в скале новые ходы по разлому ещё едва обозначившихся трещин.

Одиссея не беспокоил их довольно безалаберный быт, он привык всё делать сам, у него и в первом браке всё было так же.

Постепенно его начали раздражать её многочисленные друзья, что бесцеремонно вваливались в его жизнь и сидели, развалившись на стареньком диване, потягивая пиво с орешками. Его раздражала музыка, которую Дора включала так, что казалось: ему на голову надели большой мед-

ный таз и колотят по нему половником. Он не понимал, как можно до трёх часов ночи сидеть с друзьями в ночном клубе и являться домой под утро, благоухая сигаретным дымом, запутавшимся в её роскошной чёрной гриве, и запахом перебродившего винограда. Его злил Дорин голый живот, который она не прикрывала даже зимой, надевая кофты, чуть достающие до пупка, и джинсы, еле прикрывающие бёдра — так, что, когда она нагибалась, был виден белый шнурок от перерезавших её трусиков и розовая нежная канавка, которой он так любил касаться. Он не понимал, как можно часами приставать к нему, требуя, чтобы он договорился с кем-нибудь о том, чтобы посмотреть футбольный матч, если уж его доцентской зарплаты не хватает на то, чтобы купить какой-нибудь зачуханный телевизор.

Но смотрел он на все выверты Доры снисходительно, как если бы она была его ребёнком. Да она и была его ребёнком... Его радостью, принёсшей в его жизнь вкус доселе неизведанного экзотического фрукта, который поначалу пугаешься раскусить, даже чувствуя его аромат, а потом твой дневной рацион без него уже кажется тебе неполным.

Миновали те пять месяцев, когда Одиссею приходилось кормить их обоих на свою нищенскую зарплату, теперь Дора получала вдвое-втрое больше, чем он. Это давало ей независимость от его нравов, и она теперь собиралась попутешествовать по Италии, куда уехала на заработки её студенческая подруга.

Одиссей бегал по утрам вместо физзарядки. Сначала трусил по набережной; потом спускался вниз, к дороге, ведущей к гребному каналу; затем не спеша возвращался. Ему было по душе бегать трусцой, все печальные мысли исчезали на бегу вместе со свежим ветром, дующим ему чаще в спину и подгоняющим его в этом лёгком движении. Если ветер был в лицо — ему нравилось преодолевать его тугое резиновое сопротивление, он представлял себя катером, разрезающим волны. После этой пробежки он чувствовал себя молодым, и ему хорошо работалось потом целый день.

Он больше не был одинок. Его внутренним миром не очень-то интересовались. Но он с юности усвоил английскую поговорку: «Будь благодарен, может быть хуже» и успокаивал себя тем, что зато его ждали из командировок, выбе-

гали и бросались ему на шею по его приезду, с нетерпением ожидали с работы, его любили. И главное, пожалуй, у него снова была женщина, да ещё такая молодая. Он уже стал забывать, что бывает такая шёлковая и нежная кожа, такая гибкость зелёной лозы, такая непосредственность, такой блеск в глазах, иногда прямо бесовское сияние какое-то. И, когда она танцевала по квартире, ему тоже хотелось танцевать, и тогда музыка становилась уже не такой громкой, потому что попадала в резонанс с его собственной внутренней мелодией. Такое вот шло нарушение всяких физических законов, за которое он был благодарен судьбе.

14

Как Дора скучала по отцу! Он ушёл от них, когда ей было двенадцать лет... Он влюбился в какую-то свою коллегу, с которой поехал на конференцию в Бостон. Сначала она сама не хотела его видеть и прощать ему его предательство, потом он уехал с этой женщиной на три года в Манчестер, а потом они просто потерялись во времени и пространстве. Она, наверное, и запала на Одиссея потому, что он чем-то напомнил ей отца. Он и в Бостоне был как отец. Даже их разговор начался с того, что она рассказала ему о том, что её отец был тоже в Бостоне. Как знать, если б не Бостон этот, может быть, и не втюрилась бы она в этого дядьку? Да он и не дядька совсем был. Он как мальчишка — в их банде.

А тут её словно с цепи сорвало...

И она такая теперь счастливая! Её никто так никогда не любил. Её звали «ёжиком», а она не ёжик: она кактус для тех, кто её укусит и зажевать хочет, а сейчас она распускается удивительным цветом. И она сама это чувствует, как она расцветает, распространяя по комнате нежный аромат. У неё теперь всё будет.

Жизнь как бы вошла в свои русла и берега. Дора теперь не представляла своей жизни без Одиссея. Его друзья стали принимать их уже как семейную пару. Дора несколько раз заговаривала с ним о том, что она хотела бы зарегистрировать их отношения, но он почему-то отмалчивался или отшучивался, мол, разве им нужна печать, неужто любви нужна печать? И она отходила от него, надувшись. В который раз. И всё же она думала:

«Значит, счастье возможно». Такой покой и единение она чувствовала, когда он ласково отводил в сторону, за ухо, гриву её проволочных волос и нежно смотрел в глаза, пытаясь понять, что же там у неё внутри происходит, и нежно-нежно целовал, долго-долго.

Всё у них было хорошо. Они никогда не ругались, берегли друг друга и старались дарить друг другу маленькие радости. На Рождество Дора с Одиссеем гостили целых две недели у её подруги в Париже, ходили по всяким музеям, ездили в Диснейленд, были в настоящем варьете «Мулен Руж», объелись круассанами, надегустировались сыром с мохнатой, как носки из козлиной шерсти, плесенью и упились французскими винами. Две сказочные недели. Она была так счастлива. Рядом был её мужчина, она чувствовала себя львицей, которая в любой момент может положить на него лапу и сказать: «Это моё».

Потом потянулись обычные дни. Дора по восемь часов торчала на работе, затем заскакивала иногда в супермаркет, а изредка ходила к друзьям или в кино, или в театр и даже в «библиотеку», как она называла кафешку на центральной улице. Одиссей работал по большей части дома на компьютере, сидел зачастую до двух-трёх часов ночи, заваривал крепкий чай с бергамотом или мятой и пил его полулитровой кружкой с аляповатым рисунком, что стояла у него на компьютерном столе. Кружка была вся как закопчённая изнутри. Он по-прежнему часто уезжал в командировки; Дору немного обижало, что срывался он туда с такой радостью, как будто ожидал какого-то чуда и приключения. Но она была спокойна. Она знала, что его ничего, кроме его компьютерных игрушек и участия в работе по составлению компьютерных энциклопедий, не интересует. Одиссей звонил ей всегда с дороги и с нового места. И она радовалась, услышав его голос. Это так хорошо, когда есть человек, который о тебе заботится и беспокоится как о ребёнке. Ей всегда хотелось побыть маленькой, чтобы её брали на ручки. Но она была из «старшей группы» детей. А пока он ездил, она могла вдосталь нагуляться по всяким гостям, клубам, кино, «библиотекам». Сам-то он не очень любил подобные походы и никогда не спешил разделить её компанию, но у них был суверенитет и муж никогда не стеснял её передвижений. Ещё она ходила в кружок танцев и всё чаще думала, что это то место, где она по-

настоящему чувствует себя свободной и может парить как птица, ничего не видя вокруг. Музыка обволакивала её своими волнами, набегаая, как лёгкий морской бриз, снимая усталость и головную боль после работы, подхватывала, обнимала её и несла в своём потоке, как какой-нибудь цветок, брошенный плыть по течению.

Она стала работать юрисконсультком, занималась составлением договоров аренды и взимания коммунальных платежей, работой с учредительными документами, оформлением и регистрацией земельных участков в собственность, хозяйственными и образовательными договорами, заключением контрактов с проведением торгов, аукционов и конкурсов. Её работа не доставляла ей особенного удовольствия. Приходилось пребывать всё время в обстановке стресса и давления сроков выполнения нескольких заданий одновременно. Она даже подыскала себе помощника, исполнительную, тихую, как серенькая мышка, девочку, робевшую перед посетителями, но и, как мышка, очень тщательно и скрупулёзно вгрызающуюся в порученные ей бумаги и беспрестанно шуршащую ими в своём затемнённом углу. Доре нравилось, что к ней обращаются по имени-отчеству, что от её компетентности зачастую зависит поворот того или иного дела, она чувствовала свою материальную независимость и решимость режиссировать свою судьбу.

Она съездила к себе домой в Красноярск в отпуск. Одна. Но это был уже как бы вроде и не её дом. Там была уже не её жизнь, она не чувствовала себя там хозяйкой. Дядя Володя ушёл от мамы к какой-то молодой девке. А брат вырос таким дылдой и тоже стал совсем чужим. Но зато Дора так рада, что повидала всех своих друзей. Зимой её младшая сестра приезжала к ним в Казань. Вообще, у нее в Казани побывали почти все её друзья. Каждый месяц кто-нибудь да заваливался в гости.

Август был в тот счастливый год отутюженной семейной жизни на редкость жарким. Лето навёрстывало упущенное. Три недели они жили на даче. Они целыми днями купались или катались на стареньком обшарпанном катере, рассекающем зацветшую зеленью речку, будто ножницами палас. Жарой пропитались все времена суток. Даже ночи были все невыносимо душные и тревожные какие-то. Даже комары все высохли и куда-то пропали. Крыша мансарды накалялась

за день так, что не остывала даже к утру, спали они с открытыми настежь окнами, но спасительная прохлада не успевала накопиться в комнате и к первым солнечным лучам, окрашивающим небо с востока, точно раздавленные ягоды малины. Ещё не набравшие красок яблоки сыпались на желтеющую траву без всякого дуновения ветра. Весь сад благоухал запахом поспевших яблок, истекающих соком сквозь лопнувшую от неудачного падения тонкую кожуру и пахнущих перебродившим вином. Созрела и слива, она висела чернильными гроздьями на ветвях в таком количестве, что склоняла ветки деревьев до самой некошенной травы. Некоторые ветви обламывались со звуком, напоминающим выстрел, не выдержав необычного и скороспелого урожая. Они делали из сливы вино, которое по вечерам пили, сидя на веранде и глядя в ночное небо, что казалось гигантским колоколом, полным звёзд. А Одиссею из-за жары было даже лень пребывать в своей виртуальной реальности.

15

Даше не было одиннадцати, когда родители разошлись. Они были очень разные. Даша любила отца до умопомрачения и вообще была папина дочка. Когда она была маленькой, он собирал всех её подруг и они шли куда-нибудь гулять: в парк, в музей, просто по городу ходили, как цыганский табор. А когда они жили на даче, он собирал всех её друзей и они жгли до полуночи костры и пекли в них картошку. Это такое было наслаждение: обдираешь, обжигаясь, кожуру, превратившуюся в целый слой угля, — а там открывается запёкшаяся разварившаяся картофелина, пахнущая горьковатым дымом. Её солишь крупной солью — и объедение! А ещё чёрный хлеб пекли над прожорливыми языками костра. Нанизывали на деревянные пруты ломтики хлеба и коптили. Языки огня облизывали хлеб, как дракон какой-то многоголовый, оставляя на нём свою чёрную слюну. Запёкшийся хлеб был с хрустящей корочкой и тоже вобравший в себя просмолившийся дым и предчувствие романтики. А в небе звёзды светили, и луна была полукругом, как след у них на журнальном столике от горячего чайника, который папа по рассеянности поставил половиной дна на салфетку, а

половиной — прямо на лакированный столик. А папа им показывал, где живут Большая и Малая Медведицы, похожие на половники, которыми они на даче черпали воду из эмалированного ведра, стоявшего на солнышке, и обливались в жару. А ещё он им сказки рассказывал всякие, даже не сказки, а истории. Её любимыми историями были сказки про «Ивана Кузьмича». Это дяденька такой смешной был. Она теперь иногда сама чужим детям такие истории рассказывает.

И ещё папа с ними на рыбалку ходил, насаживал всем им по червяку на крючок — и они сидели и смотрели, когда зелёная петелька мормышки дёргаться начнёт, как стрекозье крылышко. А когда крылышко начинало вибрировать, то папа осторожно вытаскивал удилище, снимал шупленького ершишку или маленького окунька и пускал их в садок, плавающий за бортом лодки в речке.

И ещё отец плавать их учил по книжке, но она плавала всё равно только когда он её руками поддерживал за живот и она чувствовала надёжность его рук, упругость и ласку воды, которая совсем не утягивала её на дно, а, наоборот, выталкивала на поверхность, словно пенопласт какой-то или надувной матрас. И за земляникой они ходили, и за маслятами. Она не умела искать в густой траве ни ягод, ни грибов. Папа собирал ей букетик земляники, а она потом сидела на пригорке и губами срывала по одной из букетика, растягивая удовольствие. А папа бросал ягоды в кружку или бидончик, после землянику клали в чай или молоко, или даже в творог со сметаной, и те становились сразу такими душистыми и напоминали о полянке, залитой солнечным светом. А грибы папа видел даже самые мелкие среди некошенной травы на буграх — сразу целое семейство жёлтых шляпок масляток, напоминающих желтки яиц деревенской курицы, которые она так любила вылавливать из бульона летом. Он аккуратно срезал грибы под корень перочинным ножиком и складывал в старенькую корзинку с вылезшими из неё прутьями, торчащими, как солома из разорённого гнезда.

А ещё она обожала, когда он её в гамаке качал. Она лежит, раскинулась. По синеве неба облака плывут, будто белые медведи по морю. А над ней сосны качают своими мохнатыми лапами с расфуфыренными шишками.

Зимой же они на лыжах катались, а ещё рань-

ше, когда она совсем маленькая была, папа её на санках возил: она ехала, как маленькая королева-вишна в карете, закутанная бабушкиным пуховым платком по самые глаза.

И в шахматы с папой они играли, и в шашки, и в «пятнадцать», и в лото, и в мозаику, и в игры всякие, когда кубик кидаешь — и передвигаешься либо назад, либо вперед, это когда ещё компьютера у них не было. Эти игры она особенно любила и рано поняла, что никогда не получается двигаться только вперед, всегда рано или поздно отбрасывает назад, как бы ты быстро ни продвигался; надо всегда уметь искать обходные пути, быть гибкой и никогда не переть на стенку. Стенка останется стоять, а вот лоб... И никогда не бывает истинным путь, что кажется самым коротким. А дойдя до цели, очень часто вблизи её не узнаешь и не понимаешь, зачем было потрачено столько усилий, когда клад — вон он, совсем в другом месте, только надо опять копать окаменевший грунт...

Он даже платья для кукол ей шил на машинке швейной. А больше всего она любила сидеть у него на животе, когда он лежал на диване, согнув ноги, и имитировал спинку кресла. А потом — раз! — она весело падала на жёсткий матрас. Это их любимая игра была. Когда только что надёжно и мягко сидела, ощущая всем телом живое тепло, и вдруг совершенно неожиданно летишь в тартарары.

И фильмы всякие они вместе смотрели, и читал он ей вслух. Особенно, когда она болела. От гайморита ей нос прогревали синей лампой. Он одной здоровой рукой держал лампу, а другой придерживал на коленях книгу, которую ей читал. Это было так забавно, когда вся комната заливалась ультрамариновым светом, как будто она плавала в индиговом океане у экватора, который ласково обнимал и согревал её, или в синем море, у которого «жили старик со старухой». Потом лампа гасилась, одеяло крепко и заботливо подтыкалось папой со всех сторон так, что она оказывалась в надёжном коконе, и комната погружалась в глубину ночи, но тепло оставалось.

Она ему всё-всё могла рассказывать, а маме никогда. Она даже, когда во втором классе влюбилась в мальчика по парте, всё ему повествовала: и что чувствует, и как они дружат. Папа как подружка ей был. Она вообще очень любила с ним вдвоём оставаться, без мамы. Чтобы тот её

кормил, спать укладывал, чтобы уроки вместе с ним делали. А когда компьютер появился у них, она садилась к папе на колени и они вместе играли уже на компьютере. Особенно она любила всякие «бродилки»: идёшь-идёшь, открываешь дверь — а там лабиринт. Плутаешь по лабиринту, и вдруг — пол уходит из-под ног, или чудище какое перед тобой вырастает ужасное. Может, её так к взрослой жизни готовили, чтобы не теряться, когда земля начнёт уплывать из-под ног?

А в парке они на многих каруселях пробовали кататься, но у неё голова кружилась, поэтому папа её обычно сажал на «чёртовое колесо» — и они медленно, как на воздушном шаре, подхваченном тёплыми потоками, поднимались вверх, а город всё уменьшался и уменьшался в размерах, словно они были гулливерами в стране лилипутов, такими люди все маленькими становились, будто букашки на ладони. А они парили наверху, над кронами деревьев, почти под облаками, как птицы. А река становилась, как на карте нарисованная. И ещё они в тир всё время в парке ходили, и она тренировалась попадать в чёрное яблочко. Курок подводишь под цель — и её как бы поддерживаешь, а попадаешь в яблочко...

А ещё он курочку очень вкусную всегда пёк и жарил в манке рыбку, которую можно было со всеми хвостами и плавниками есть (о, как она хрустела!), и кексы всякие печь любил, а мама никогда не пекла.

И у них дома тогда всегда цветы были в горшках разных забавных: и на подоконниках, и на всяких шкафах и сервантах, и на даче он их разводил. А потом он любил всегда просто так живые цветы домой приносить, шёл с занятий и покупал по дороге. У них всегда цветы дома были. А ещё аквариум со всякими рыбками диковинными и водорослями, сквозь которые весело бежали фонтанчиками пузырьки из трубки, которая называлась «генератором воздуха».

А как они фотографии с ним печатали, когда ещё цифровика не было! Запирались в комнате с красной лампой, напоминающей ей волшебную лампу Аладдина, словно для чудотворного действия какого-то. Больше всего она любила фотобумагу с отпечатком опускать в ванночку с проявителем и смотреть, как медленно начинают возникать, словно дышишь и отгаиваешь губами замёрзшее стекло, знакомые лица. Сначала угадываются только их отдельные детали, а по-

том смутно уже всё лицо проступает, становясь всё резче и чётче. Не знала, не видела, потом обнаружила детали, потом увидела лицо — и вот уже и не заметила, как любишь... А потом проявленные лица после закрепителя плавали у них в ванной. Целая ванна фотографий! Целая ванна дорогих и любимых лиц! Она так любила их перебирать и рассматривать! Фотографии её детства были чёрно-белые. Может быть, оттого она и сейчас так любит чёрно-белые фотографии. На них смысл яснее виден, рельефнее всё проступает, цвет не мешает и не отвлекает от сути. Говорят, что она и в жизни такая: у неё либо чёрное, либо белое... Нет, она не такая, она ко многому очень философски относится. Просто ведь вся жизнь полосатая: полоса чёрная, полоса белая, белый снег и чёрные ветки, и тёмные тени ветвей на снегу... А переход между чёрным и белым всё равно виден по густоте теней и по их длине. В белом все краски собираются, фокусируются, их всегда можно разложить, только надо уметь это делать. А чёрный — никакой не цвет, а всего лишь отсутствие цвета, он неразложим, он поглощает лучи света, а также все остальные цвета вокруг, его нельзя найти ни в каком другом из оттенков, он уникален; это цвет траура, торжества, магии.

Отцу просто стало тесно в их плоском городе, в их элитарной школе, он стал выезжать уже за границу, защитил диссертацию, для него их город стал препятствием, ему хотелось дальше лететь и летать высоко, а здесь он просто летал не на той высоте и не по своему маршруту. Заболела бабушка — и он уехал: сначала будто бы ухаживать за ней, но Даша знала, что он не вернётся. Он давно хотел с этого поезда прыгнуть — и соскочил...

Даше не очень-то были интересны все его компьютеры, она больше любила рисовать и фотографировать. Музыкае её учили тоже, она получила общее развитие, но хорошо знала, что никогда не будет профессиональным музыкантом: для этого талант нужен, а у неё его не было; потом ей было скучно играть все эти гаммы, отрабатывая технику. Не было никакого ощущения полёта. А когда она рисовала, была иллюзия парения, но хорошо рисовать у неё тоже таланта не было. Она чувствовала цвет, нюансы, скрытый смысл в абстракциях новых художников, в графике особенно: та же чёткость белого на чёрном

или чёрного на белом, когда одной линией можно целый мир изобразить с его сновидениями, эмоциями, догадками и предчувствиями. Она пять лет ходила в детскую художественную школу, но там не учили полёту, там набивали руку. Они рисовали чёрно-белые геометрические фигуры, куски рельефного орнамента, ворон чёрно-белых, коричневые глиняные горшки, около которых была положена связка усохшего лука или несколько восковых яблок. Ей скучно было. Рисовать она хотела как раз цветной акварелью или пастелью. Красками там тоже рисовали, но только те же горшки или кувшины и иногда большие тарелки с фруктами.

А на компьютере ей очень было интересно фотографии редактировать: вычленять, вырезать и увеличивать, а главное, убирать цвет, накладывать фильтры всякие... Она рисовала хмурый осенний дождь в залитом солнечным светом пейзаже или добавляла радугу, перекинувшуюся коромыслом посреди заснеженного зимнего леса, замершего в оцепенении от увиденного чуда; прочерчивала на совсем безоблачном небосводе молнию, готовую разломить безмятежное небо и жизнь напополам, как горбушку. Её завораживала возможность отражать печальное лицо и встреченные ею пейзажи в тихой ключевой воде прозрачного лесного озера, которого и в помине не было в действительности. «В твоё лицо, как в зеркало смотрюсь...» Она и рисовала это зеркало... Это была такая удивительная игра, она чувствовала себя просто маленькой феей: раз — и перенесла себя из их утопающего в сугробах городка в далёкую Африку, где она танцевала среди львов, раз — и одела себя в образ Кшесинской... Это была игра красок, теней и света, основанная на догадках и неизвестно откуда возникших предчувствиях, что и в жизни часто очень многое можно отменить и переиначить, только в большинстве своём люди об этом не догадываются, погруженные в мышиную возню и круговерть.

Когда Даша услышала в квартире отца женский голос, то подумала, что это должно было всё равно произойти, у многих её друзей родители переженились заново, но её очень задело то, что он жил с женщиной, бывшей по возрасту чуть старше её. Она тщательно скрывала свою ревность к отцу, ревность была, безотчётная, тём-

ная, слепая, затаившаяся, как зверь в кустах, что готовится к прыжку. Она думала, что если бы он жил с женщиной маминого возраста, у неё не было бы такого чувства. А тут — словно какая-то тёмная сила внутри поднялась и душила её. Ну неужели и её отец — как все мужики? Она ведь недалёкая, эта Дора, она современная девушка, работающая со школьной скамьи, хваткая очень, но обычная. Отец у неё необычный, а эта его подруга обычная. Висит часами на телефоне, шляется по всяким своим друзьям. И работа-то у неё какая-то скучная. Она бы застрелилась от такой работы, целыми днями юридические бумаги составлять. Тоска. Но Дора очень сильная, злая и напористая. Она скоро скрутит отца в бараний рог. Мама правильно говорит, хотя Даша во многом не разделяет маминых взглядов, что ей квартиры нужна. Нет, конечно, не только квартира, но она всё оценила, взвесила и решила, что можно кидать наживку. Бедный папа, плавающий, как рыба в воде, в сетях Интернета в качестве эксперта поисковых сайтов, попался в рыбацкую сеть, незатейливую, из грубой верёвки, связанную еврейской девочкой с сибирской хваткой.

Даша, конечно, делает вид, что они подруги, записи ей ансамблей всяких посылает, которые Дора коллекционирует, фотки, но это только для того, чтобы не выпустить запертого джинна неприязни из бутылки, которую она даже печатью сургучной запечатала.

Хорошо, что хоть отец не женится на ней. Но она ведь молодая, она же детей захочет, и тогда отец забудет о Даше, переключит всю любовь на маленького.

16

Вот и лето уже кончается. Уже чувствуется дыхание осени. И солнце стало какое-то поблекшее, ленивое, сонное, даже когда выглядывает конъюнктивитным заспанным глазом из-за туч. И свет льётся какой-то радиоактивный, тревожный, скользит по желтеющим, будто обожжённым марганцовкой листьям — как напоминание о том, что скоро и этого света не будет. Как предчувствие того, что зима не за горами. Молодость миновала, желаний становится всё меньше и меньше. И бежать вприпрыжку навстречу новой любви тебе уже не по силам.

Светлана зашла на страницу «Живого журнала» и прочитала:

<http://aisedora.livejournal.com/>

27 сентября 2007

Срочно нужна сиделка в Красноярске. У мамы инсульт. Наняли на две ночи в больнице — 8000 за ночь. Писать моей сестре Poze rouse@mail.ru.

7 декабря 2007

Срочно после 25 декабря нужна сиделка в Казани и консультации невропатолога и психотерапевта на дому.

17

Как вообще так произошло, что эта чужая девочка поселилась в сердце Одиссея? Неужели просто потому, что там был вакуум, а в вакуум втягивает всё, что попадает на пути? И вот ты уже понимаешь, что ты не цельная неординарная личность, а принадлежишь некой высшей субстанции, что называют семья. Одиссей же был котом, бродящим сам по себе. Кот — существо домашнее, он любит, когда его гладят, чешут за ушком — и тогда он мурлычет, вытягивается на диване, показывая белое брюшко, или, наоборот, сворачивается в клубок, убирает коготки в мягкие подушечки и крепко зажмуривается от наслаждения.

Что он мог поделать? Дора была теперь практически старшей в семье, от неё ждали поступка. Дора летала к себе в Сибирь, вернулась очень расстроенная, отвечала невпопад, почти не разговаривала, всё падало у неё из рук. Потом сказала, что ей придётся, наверное, уезжать снова в Красноярск. Но неужели он её отпустит? Он бы, пожалуй, погоревал чуток и отпустил бы... стыдно себе признаться, с облегчением. Он вообще не понимал, почему его подруга должна срываться из свиваемого ею гнезда, если в доме её детства есть и другие уже взрослые дети... Да, конечно, она почти старшая, но не единственный же она ребёнок! Дора считала своим домом уже дом Одиссея и, хотя её семья была в Сибири, робко спросила: «А может, мы её к нам перевезём?» Нет, они ещё не срослись корнями и даже не притёр-

лись друг к другу, и, разбежись они сейчас, у обоих бы остались полынные воспоминания о том, что они были, пожалуй, счастливыми, эти три года; но дрогнула рука стрелочника — и Судьба перевела стрелки на другой маршрут; сделать уже ничего нельзя, но и катастрофы не случится, поезд просто бежит в другом направлении, чем было ими решено в случайный вечер, и за окном мелькают новые пейзажи.

Уже немного родное существо смотрело на него красными воспалёнными от слёз глазами, судорожно хватало его за руки, как утопающий хватается за подвернувшуюся корягу, не понимая, что коряга уже подгнила в воде и сучок, в который ты вцепился, может обломиться в любой момент, лишь стоит повиснуть на нём посильнее на очередном перекате реки... Он был большой, сильный и взрослый мужчина, который должен был бы быть опорой и защитой от всех разгулявшихся ветров жизни.

Он не смог сказать «нет», но понимал, что тем отношениям, когда они стали казаться друг другу почти целым, которое и разъединить-то, как сиамских близнецов, невозможно, так как у них одно сердце на двоих.

Остановись, мгновенье! Почему лёгкие, такие изумительно красивые бабочки иллюзий, за которыми ты недавно бегал с сачком, торопясь их накрыть, осторожно взять за трепещущие крылышки, чтобы посадить в банку и кормить жучками, купленными в зоомагазине, превращаются в мохнатую толстую прожорливую гусеницу, требующую капустных листьев?

Он сам поехал в Москву встречать свою Дору в аэропорту, наняв частную «скорую помощь». Ему пришлось отдать весь гонорар, полученный в иностранном издательстве за работу, которая стоила ему двух лет полубессонных ночей.

Будущую тещу поместили в мамину комнату, на мамину кровать, которую у него так и не поднялась рука выкинуть. Одиссея теща не узнавала — тот участок её памяти, когда он гостил месяц в далёком сибирском городе, оказался стёрт. К кровати придвинули спинками два стареньких кресла и стул, чтобы женщина ненароком не упала. А женщина лежала себе и разговаривала. Это не был бред помрачившегося рассудка. Она лежала и рассказывала о своей молодости, о своих любовниках, потерях, путешествиях, работе. Она вела занятия по сольфеджио и

руководила водопроводчиками, ставящими новый унитаз. Она воспитывала сына и ругала соседей. Её речь лилась непрерывным потоком день, ночь, снова день и снова ночь, а потом опять день и опять ночь. Женщина разговаривала громко, как будто вела занятия в большой аудитории, как будто она боялась, что задремавшие на галёрке студенты её не услышат.

Напрасно Одиссей пытался положить голову под подушку, высовывая из-под неё только нос, чтобы дышать, и наматывал поверх ещё ватное одеяло. Трубный голос проникал и туда, он ввинчивался в череп и сжимал его широким обручем, затягивая на обруче шурупы, чтобы тот не слетал.

Женщине, по-видимому, было хорошо. Она смеялась, как девочка, смех рассыпался по квартире, как стекляшки от разбитой хрустальной вазы, которую его отец подарил когда-то матери в первый год их совместной жизни и которую Дора случайно опрокинула, пытаясь в его отсутствие в одиночку передвинуть этажерку, не вынимая из неё посуду.

Одиссей не выдержал, сунул в стоптанные тапки заледеневшие ступни, на которые не хватило длины одеяла, накинул махровый халат и зашёл в мамину комнату. Женщина была ещё молодой, смотрела на него карими блестящими и заинтересованными глазами:

— Слушай, странник, что я тебе скажу. Не в ту воду ты нырнул, не по тем морям плаваешь, и женщина эта чёрная не твоя и не для тебя. Это не судьба твоя, от судьбы ты далеко так, как не был никогда. Убежать ты не сможешь, некуда бежать тебе — море штормящее кругом и до берега не доплыть. Собирай паутину и вяжи из неё сеть. И сетью этой рыбу лови. Станешь богатым. А однажды тебе попадётся в сеть рыбка, не золотая, а серебряная, как лунный свет. В ней твоё спасение.

Одиссей в испуге отшатнулся, больно споткнувшись косточкой на лодыжке о порог, и закрыл дверь, чувствуя, как холодной испариной покрывается у него лоб, да что лоб, весь он мокрый, как раздавленная хурма. Ноги его сделались ватными, сердце ухнуло в пропасть, как бывает при спуске самолёта, когда тот падает в воздушную яму. Он инстинктивно протёр воспалённые глаза, но нет, он не спал. Стоял в полутёмном коридоре и смотрел на

жёлтую полоску света, вытекающего ядовитой жидкостью из-под двери.

Утром вызвали психиатра. Пришла женщина лет пятидесяти, сухошавая, в очках с тонкой золотой оправой, из-за которой смотрели умные равнодушные глаза. Сделала укол. Сказала:

– Теперь она спать будет. У неё перевозбуждение после транспортировки на фоне интоксикации. Но она молодая ведь ещё. Ей всего 51. У неё сил много. Она долго ещё проживёт. Вам повезло, что руки у неё работают, у неё ведь только одна рука с частичным парезом. А перевозбуждение это психическое пройдёт. Вот я тут лекарства выписала. Три раза в день по полтаблетки, а через неделю посмотрим. Мужества вам и терпения.

18

Жизнь входила в свою колею, если можно назвать колеёй эту разъезженную пятитонными самосвалами дорогу, возившими груз, придавивший их любовь. Самое печальное в этой истории было то, что Дора уходила на работу и приходила с неё не раньше семи вечера; на сиделку денег, конечно, не было, хватало только на памперсы; и он волею судьбы должен был большую часть дня проводить со своей новоявленной тещей, так как в институте был несильно загружен занятиями, а компьютеров на кафедре, как всегда, не хватало.

Ему приходилось кормить эту чужую женщину, поправлять одеяло и разговаривать. Женщина теперь чаще молчала и смотрела неподвижно в потолок сухими воспалёнными глазами. Из его рук она почти ничего не ела, кормить могла её только Дора, но иногда она пила с ложечки или из кружки с носиком для питья минеральной воды с витиеватой надписью «Любимой жене», которая когда-то была привезена отцом из Кисловодска, куриный бульон, сладкий чай, клюквенный морс, кефир. Хуже всего было то, что женщина его так и не узнавала, а принимала, видимо, за медбрата и почему-то не только не старалась ему помогать, а как будто специально хотела затруднить своё кормление. Её невозможно было приподнять на подушке, она тут же кулем съезжала на сбитые простыни и смотрела на него по-детски прозрачными глазами, в которых

начинали накапливаться слёзы. Он старался держать кружку так, чтобы женщина могла свободно пить, но её голова сползала набок, и жидкость начинала течь у неё по подбородку, растекаясь мокрым цветным пятном по подушке.

Больше всего он боялся её агрессивных состояний, когда она начинала отталкивать его руки и даже кресла, стоящие у кровати, скидывать одежду, памперсы, простыни и одеяло и даже кусаться.

Ему тяжело было работать, так как она довольно часто его звала просто так. Он приходил, она смотрела на него воспалёнными глазами, иногда просила пить, иногда не просила ничего и только махала рукой «уходи». Если он видел, что её губы по кромке покрылись белым или желтоватым налётом, похожим на тот, что выступал на поверхности глиняных горшков с цветами, то давал ей пить, чаще сам поднося ложку с водой к пересохшим губам.

Потом возвращался к своему компьютеру, тупо смотрел в мерцающий светом голубого неба монитор и никак не мог сосредоточиться.

Как случилось так, что его жизнь, замысленная как полёт сокола, превратилась сначала в жизнь голубя, а потом и вовсе в жизнь дятла, заколоченного в большом трухлявом дупле, которое надо было ежедневно долбить, доставая жучков всем для пропитания?

Одиссей стал раздражителен, резок, вспльчив, он научился кричать на студентов, чего раньше никогда не мог себе позволить. Не один раз он прокручивал, как киноленту задом наперёд, тот вечер, когда он сорвался в лёгком беге счастливого тела навстречу своему счастью, обернувшись бедой. Больше всего его выводило из себя, что Дора по-прежнему ходила в кружок танцев, на спектакли и выставки, к многочисленным друзьям, от которых всегда возвращалась повеселевшая, легко — словно дуновение южного ветерка — целовала его в щёку, гладила по щеке, и он ощущал резкий запах вина или пива. Его злили глупости, которые она говорила друзьям по телефону своим щебечущим голосом, заливаясь от смеха, будто какая-нибудь соловьиная самка, залупавшаяся в ветвях весеннего леса. Сверлила голову включённая на полную катушку музыка, так что в серванте начинали дрожать стёкла, не давая ему покоя. Совершенно выводили

из равновесия горы грязной посуды; их она частенько оставляла после себя, с остатками засохшей еды — посуду теперь можно было отскоблить только колючей ржавеющей проволокой. Пирамиды их кухонной утвари занимали все свободные площади на их массивном буфете, на большом кухонном столе, на холодильнике и даже на подоконнике.

Дору же бесило его постоянное сидение в Интернете (как будто на преподавательскую зарплату можно было прожить?); его ежедневный ритуальный бег; его вечно приглушённый телевизор, который ей хотелось врубить на полную катушку, чтобы отключиться от выпавшего на её долю несчастья.

Они стали говорить друг с другом на повышенных тонах. Что-то постепенно, по капле, день за днём уходило из их постоянно распахнутого дома, ставшего продуваемым любыми ветрами. В квартире поселились сквозняки; хлопали в ладоши все форточки и двери; билась со звоном сшибаемых с крыш сосулков посуда; со стуком падали вещи — как будто забивают дверь в прошлую жизнь. Потом он осторожно подметал осколки, залетающие под кровати, шкафы и буфеты; аккуратно собирал вещи, если те оставались целыми... Дора до этих занятий не опускалась. Была гордая и строптивая... Как ребёнок, который говорит: «Вот возьму и зажмурюсь — пусть всем будет темно». Даже если чашку об пол кидала она, то он, выждав некоторое время, покупал ей новую, сам мыл её чайной содой, наливал в неё свежий, пахнувший душицей или смородиновым листом чай и осторожно, как будто боялся причинить чашке боль, ставил перед ней.

Он не понимал, почему их груз не хотят разделить сёстры Доры. Они приезжали пару раз поодиночке в отпуск и на каникулы, но это только ненадолго избавляло его от его дневных дежурств. С сёстрами в дом врывались кутерьма, слёзы, ещё больше разбросанные вещи; бесконечные разговоры на повышенных тонах; женская ругань визгливыми голосами, как скрежет заржавевшего металла по стеклу, а от мата — если он слышал его из женских уст — у него всегда обрывалась какая-то нежная струна внутри, что уже давно не звучала, но он с гордостью знал, что она ещё есть.

По утрам он с ещё большим рвением стал со-

вершать свои марафонские забеги. «Умереть на бегу? Бегай!»

Пожалуй, он был бы уже рад, если бы Дора вернулась к себе в Красноярск. Но его природная порядочность не могла позволить сказать ей об этом. Не потому, что он боялся потерять её навсегда, — то ослепление взрывающимися в небе разноцветными петардами прошло. Видимо, он не заметил, как одна из петард взорвалась у него в руке — и разнесла на части его жизнь, грозя разрушить его внутренний мир. Он просто понимал, что это было бы подлостью заставить снова перевозить больную, что в Сибири их уже не ждут: там налаживают и обустривают свою непростую жизнь, в которой больная мать будет помехой. Ох, как он хотел бы умереть легко, не цепляясь за ноги ближних. Умереть на бегу, как подстреленная птица, набирающая высоту...

Теперь с ещё большей радостью, чем раньше, он стал срываться в командировки, каждый раз принимая на себя шквал упреков и слёз. Это бывало всегда — как град, после наступало резкое похолодание без ветров, когда деревья застывают на стене в статичном узоре, — и он уезжал.

В командировке он постоянно думал о том, что всё-таки его Дора очень сильная девочка, коль смогла так его скрутить. Да и каких усилий и нервов стоит ей такая жизнь! Ведь она так молода ещё. И всё-таки она молодец: всеми силами, всей своей энергией сжавшейся стальной пружины пытается приподнять груз, обрушившийся на неё, всей своей сибирской закалкой коренастого деревца на осыпающемся грунте пытается противостоять обстоятельствам и продлить жизнь любимого человека. Такая уж не бросит его точно, когда он станет старым съёжившимся грибом!

19

Они смирились потихоньку с выпавшей на их долю бедой, сжались в комок и жили в этом скукоженном состоянии, выдавая знакомым улыбку: «У меня всё нормально». И, действительно, всё у них было не хуже, чем у других, если внимательно посмотреть по сторонам. Привыкаешь ко всему.

В этот день у него были занятия у вечерников, и он пришёл домой позже обычного, значи-

тельно позже, чем появляется Дора. Раскрытая ядовито-сиреневая сумка Доры валялась в прихожей на полу, дверь в мамину комнату была открыта настежь. Он сразу увидел валяющуюся тяжёлой неподвижной тушей на полу тещу. Она лежала, широко разведя свои усыхающие ноги, всё больше становившиеся похожими на обструганные сучковатые деревянные стволы срубленных деревьев, и виновато улыбалась. Она была в сознании, кресла были отодвинуты далеко от кровати, под голову её была подсунута, по-видимому Дорой, подушка. «Я хотела встать и сходить в туалет», — сказала она. Дора растерянно стояла рядом.

Поспешно сбросив куртку на стул в прихожей, кинув грязные ботинки и сунув ноги в стоптанные шлёпки, он прошёл в мамину комнату, и они с Дорой попытались перетащить тещу на кровать. Тёща была тяжела, но на сей раз она всячески старалась им помочь, опираясь что было силы о пол здоровой и больной руками. Они волоком довели по надраенному паркету женщину до кровати. Одиссей с трудом оторвал её от пола, принимая всю нагрузку на свою здоровую руку, и рывком затасил её на постель. Дора судорожно принялась поправлять сбитые ими простыни.

Через пятнадцать минут Дора закричала его из своей комнаты. Он нехотя поднялся с кресла, на котором, только что умывшись от выстужившего бисером пота, сидел, пытаясь передохнуть и остановить бухающее, как метроном, сердце, которое, казалось, вот-вот выскочит из груди, словно маятник на часах под кукушкой, висевших у него на стене.

«Я почти ничего не вижу. Какая-то тёмная пелена и только слабые-слабые очертания предметов, — сказала Дора, сидя на краешке дивана и ухватившись за него побелевшими костяшками пальцев, как за плот посреди разбушевавшегося моря. — Мне страшно», — продолжила она.

Он уложил её, как ребёнка, в постель, дал успокоительное и тёплого травяного чаю, крепко обнимал всю ночь, целовал нежно-нежно, легко касаясь пересохшими губами, и гладил её по спутавшейся мокрой проволоке волос: «Всё у нас будет хорошо». Посреди ночи она заснула, одурманенная снотворным и защитным желанием не знать и не думать ничего о завтрашнем дне. Он не спал всю ночь, прокручивая сюжет

о том, что беда никогда не приходит одна. Капкан захлопнулся, и теперь ему больше не выбраться из него никогда.

Утром он не мог уговорить тещу сменить памперсы и, махнув на неё рукой, уехал с Дорой по врачам, с трудом сведя её с третьего этажа по высоким ступенькам своей «сталинки» и посадив в свой старенький «уазик».

Врач поставил диагноз «отслоение сетчатки» правого глаза, на левом глазу сетчатка отслоилась, как оказалось, у Доры ещё в детстве, и нерв этого глаза был практически атрофирован. Нужна была срочная операция, которую брались делать только в Москве. Сбирать бумаги на бесплатную операцию, как он понимал, было уже непозволительной потерей времени, отпущенного на благополучный исход операции. Надо было искать деньги на платную операцию. Он снял все свои очень скудные сбережения, выписал матпомощь на работе, назанимал денег у всех друзей. Спасибо им, без них он этих средств не нашёл бы никогда. Пришлось заложить в ломбард старинные бабушкины золотые часы, понимая, что вряд ли он их сможет когда-нибудь выкупить.

Потом Одиссей позвонил сёстрам Доры, но оказалось, что старшая приехать никак не может, так как у её маленькой дочери воспаление лёгких, а от младшей сестрицы проку пока никакого нет, только на дорожный билет стоимостью в четыре его зарплаты тратиться. Он нанял на двое суток платную сиделку по объявлению в газете за деньги, что Дора скопила «для матери», и они поехали. Дора не переставала плакать, слёзы произвольно текли из её опухших глаз с белками, будто опутанными красными червячками, которыми он обычно кормил рыбок в аквариуме. Она совсем ни на что не реагировала, не слышала его и только судорожно цеплялась за его рукав, не отпуская его от себя ни на шаг... Да он и сам её от себя не отпускал, крепко держал за руку или вёл, обнимая за плечи и крепко прижимая к себе в московском метро. Денег на такси не было.

Затем они высидели длинные душевные очереди в разные кабинеты, он бегал платить деньги за операцию, потом ехали снова в метро к его московскому другу. Даше в тот приезд он звонить не стал.

На следующий день Дору прооперировали,

ещё день она лежала на животе в квартире его друга, Одиссей кормил её с ложечки едой, которую приготовила жена товарища. Он так был благодарен этим ребятам, если бы не они, пришлось бы или садиться в поезд, или звонить всё же его излишне впечатлительной дочери.

Через день они вернулись домой. Он чувствовал себя цитрусом, пропущенным через соковыжималку, будто вынули все внутренности — и он теперь ни на что не способен больше.

Одиссей приходил с работы, готовил еду, кормил, мыл, убирал, давал успокоительное и ложился на кровать, вместо того чтобы пытаться пополнить семейный бюджет, зарабатывая деньги написанием различных энциклопедических статей для Интернета.

Ему казалось, что он тоже ослеп. И был этому рад, ему не хотелось видеть, слышать и чувствовать. Он крепко зажмуривал глаза и погружался в воспоминания.

По небу бежали голубые облака, меняя свои очертания, он лежал под вишней в саду с книжкой Гессе «Нарцисс и Гольмунд», ветви вишни опускались почти ему на лицо, так, что он мог дотянуться до ягод ртом. Он легко срывал почти чёрные, гладкие, упругие ягоды пересохшими губами, забавляясь такой игрой и представляя, что это девичьи губы. Надкусывал их сочностью крепкими молодыми зубами, высасывал из них кислую сладость и потом выплёвывал косточку, стараясь попасть как можно дальше от того места, где он лежал. Не из этих ли косточек пошли теперь в рост молодые вишенки у них на даче, с которых Даше так нравится собирать урожай, потому что можно было теперь его доставать, не вставая на лесенку? Он смотрел на полёт перистых облаков, предвещающих перемену погоды к ненастью, и думал, что не всегда все приметы сбываются. Свет лился, как будто он был живительной водой, сквозь листву вишни, тени скользили по его рукам, лицу, футболке, и ему представлялось, что это его любимая нежно щекочет его длинной травинкой с пушистым «лисыим» хвостом.

Зрение не восстанавливалось. Они почти не разговаривали об этом, слишком страшно было предчувствие беспросветной безлунной и беззвёздной осенней ночи, охватившее их жизнь. Дора лежала на кровати, отвернувшись к стене, её плечи начинали иногда мелко под-

рагивать, и тогда он подходил и, как заведённый, гладил её, гладил. Чем он ещё мог помочь? Сердце у него сиротливо сжималось от жалости к этой девочке и самому себе. «Умереть на бегу? Бегай!» Дора старалась побольше спать. Сон был для неё не только спасительным забытьём — во сне она видела дорогие ей лица, сны эти были полны льющегося сквозь листву солнечного света и завораживающе ярких красок, которые она ещё не сумела забыть.

Она училась жить на ощупь и на слух. Она хорошо помнила расстановку предметов в доме, могла одеться, добраться по стеночке до кухни и туалета, ощущая вспотевшей ладонью шероховатость рисунка на обоях. До кухни идти не хотелось, и Одиссей приносил ей еду в постель. Она трогала его знакомое лицо руками, пытаясь вспомнить его.

Так прошло десять дней. На одиннадцатый день Дора увидела свет, это был не просто свет. Это были оранжевые, красные, синие, зелёные, бирюзовые, розовые круги, которые не имели чётких очертаний; они плыли и летели, как огни от взрывающихся в небе петард в тот майский вечер, когда она впервые приехала в этот город. Дора крепко зажмурилась, пытаясь проснуться... Но цветные круги не исчезали, они крутились, как в детском калейдоскопе, и никак не могли сложиться в постоянный рисунок. Она трясла головой — и круги занимали новое положение, создавая очередной причудливый узор.

Ещё через пять дней она увидела очертания цифр на телефоне. Жизнь, совершив очередную мёртвую петлю, начинала снова набирать высоту.

Было ясно, что её инвалидность теперь пожизненная и она никогда уже не сможет ни работать юристом, ни смотреть в голубой океан монитора... Зато теперь она могла приходиться по любому зову матери и Одиссею не надо было общаться с этой навечно прикованной к постели чужой женщиной, которая его так пугала.

Доре дали пенсию, но она была очень мала, ведь у неё не было стажа.

Привыкаешь ко всему и смиряешься со всем. Жизнь снова налаживалась. Была опять весна. И снова с весной приходили маета, бессонные ночи и желание перемен. И снова все были точно на перепутье. И вновь чёрные тени в жёлтой про-

екции окна скользили по стене и не давали дышать. Дора гладила эти шершавые тени холодными ладонями, как будто они были и не тени вовсе, а живые ветки, по которым к почкам начинал подниматься сок, и радовалась, что не только чувствует их, но и видит.

20

Матери Доры тоже становилось лучше. Одиссей знал, что она не встанет никогда, но она теперь приподнималась на подушках, могла сама есть, просилась в туалет и даже вспомнила, кто такой Одиссей.

В один из дней, когда в окно рвалось и билось настырное солнце и его приход было нельзя отменить и заслонить никакими занавесками, так как оно всё равно просачивалось сквозь тонкий шёлк, наводя на тещу печальные думы о суетности и краткости жизни, Одиссей принёс ей стакан сладкого чая, в который был выдавлен лимонный сок, и — на блюде колёсики печенья, напоминающего шляпки сырых сыроежек.

— Я вам очень благодарна, но хочу узнать, почему вы не зарегистрируетесь? Я очень боюсь за судьбу дочери и надеюсь успеть увидеть её в браке. Я очень прошу вас оформить свои отношения.

Капкан лязгнул своим металлическим замком, вгрызаясь в успешную обрасти кожурой душу Одиссея. Он ничего не сказал Доре о просьбе тещи. Но в этот день им овладел какой-то подсознательный страх, что он никогда не сможет спрыгнуть с подножки этого чужого поезда, на который он вскочил в погоне за молодостью и несбывшимся и который, неожиданно вильнув на повороте, устремился под откос, увлекая его за собой. А иногда так хотелось соскочить в чистом поле, упасть на скошенную траву и вдыхать всеми лёгкими её духмяный запах. Он понимал, что бросить Дору в таком её состоянии он не сможет всё равно. Природная порядочность никогда не позволит ему сделать это. Но зарегистрировать отношения? Увольте. Сейчас у него, по крайней мере, оставалась иллюзия свободы, что он сможет жуликовато слезть хотя бы на какой-нибудь остановке. Или его вагон вдруг случайно отцепят на станции и присоединят к совсем другому поезду, что весе-

ло побежит совсем в другом направлении «вперёд по шпалам, вперёд по шпалам...».

Потом у него ведь ещё Даша была в общаге журфака, больше похожей на бордель, чем на дом. В очередной их поход с Дорой к окулисту-хирургу, который раз в два месяца навещался делать операции в их город, моложавый лощёный членкор, поправляя позолоченные очки на переносице, сказал, что ему не нравится, как приклеилась сетчатка, осталась прослойка воздуха, и надо делать операцию повторно, чем скорее, тем лучше. Была названа сумма, значительно меньшая, чем в первый раз, но с учётом его ещё не до конца погашенного долга весьма внушительная.

Снова собрались в Москву. Дора ходила притихшая, подавленная и постоянно шмыгала носом, отчего он стал похожим на недозревшую помидорину в красненьких прожилках.

В этот раз после операции они сразу уехали домой на ночном поезде. Он лежал на верхней полке, чутко прислушивался, как неровно дышат и ворочаются на нижней, и снова ловил огни пробегающих поездов. Полоса тёмных окон, светлое окно, полоса тёмных окон, светлое окно и совсем тёмная полоса...

21

Как всё резко и внезапно изменилось! Ещё год назад Дора была такая счастливая! Любимая и любящая. И настоящая близкая душа рядышком. Да она и сейчас рядышком. Только какая-то невидимая стена вырастает между ними, или это только она её чувствует? А стена глухая, бетонная, как в каком-то подземелье, где-то в проёмах-бойницах мелькает белый свет, но выхода-то нет никакого. Кричи, не кричи — её не услышат. Бесконечный тупиковый лабиринт. Им ребёнка надо, наверное, завести, но врач говорит, что нельзя, глаза не выдержат такой нагрузки — и она совсем может ослепнуть. Если только «кесарить», но для этого надо всё равно поправиться, иначе как же она будет и за маленьким ухаживать, и за мамой... Она сильная, она железная. Она всё выдержит, только бы не ослепнуть.

Две недели была полнейшая темнота. Темнота эта придавила её к земле, вминала, как

крышка гроба, в жёсткий холодный грунт, она ничего не могла делать совсем. Она и есть не могла. Приходил Одиссей, она чувствовала его шершавые ладони на своих веках, он гладил веки, потом осторожно оттягивал по одному и капал туда какие-то капли. Капли попадали мимо век и стекали, будто слёзы. Она чувствовала, что ресницы её склеиваются какими-то твёрдыми шариками, и растирала шарики пальцами. Она теперь жалела, что согласилась на эту повторную операцию, ведь всё было уже неплохо.

На пятнадцатые сутки она увидела над головой на потолке оранжевый раскалённый шар в расплывчатом ореоле пламени. Шар напоминал солнце, которое катилось к закату.

Она вспомнила, что это, должно быть, не солнце, а оранжевый шёлковый абажур, который болтался у них под потолком и окрашивал их жизнь в розовый цвет. Значит, розовый свет возвращается. Чтобы выжить, надо уметь создавать иллюзии.

Три месяца спустя она орала на Одиссея, что опять у них засорилась канализация, она не знает, что делать с материнскими пелёнками в таких условиях, что ему на всё наплевать, лишь бы торчать в своём Интернете, и он совсем не жалеет и не любит её.

Дора бросила судно на пол, с силой захлопнула дверь в свою комнату, надеясь, что он услышит её. Одиссей вздрогнул от стука посыпавшихся на пол кусков штукатурки, что полетели из щелей, уже давно наметившихся у косяка, как будто высохшая глина из растрескавшегося от засухи и осыпавшегося крутого откоса русла.

Он встал, открыл входную дверь, ведущую из квартиры в пропавший кошками подъезд, нарочно громко бряцая связкой ключей, и, стукнув железной дверью с лязгом закрывающегося тамбура, вышел из дома.

Через полчаса предательская пелена начала наползать на зрачки Доры. Все предметы стали двоиться, тройиться, умножаться, как будто преломлялись посыпавшимися из глаз прозрачными слезами. Она судорожно стала шарить по столу пальцами, отбивающими неуклюжую чечётку, совсем не в такт конвульсиям песни, выкрикиваемой репродуктором, и искать мобильный телефон.

А Одиссей летел по осенней набережной, постепенно замедляя шаг и останавливая сердце, бьющее в грудь копытом, как взбесившееся животное, бросающееся на прутья клетки. День был безветрен и прозрачен. Отмирающие и опадающие листья скользили по тонким невидимым шёлковым нитям паутины и повисали в воздухе, не достигнув земли. Он подумал, что он тоже, как эти листья, высохшие, без сока, повис в воздухе и висит на тонкой, липкой и невесомой паутине, запутавшийся в её спасительной сетке. И не знает он, что ему предстоит: то ли северным порывом ветра погонит его в неизвестном направлении, то ли упасть ему совсем рядом и быть вдавленным в асфальт острым каблуком с металлической набойкой.

Зазвонил сотовый, он посмотрел на дисплей и отклонил звонок. Он шагал по набережной, свободный, смотрел на серую рябь реки с пролетающими чайками судов на подводных крыльях и думал, почему он не может мчаться, как эти суда, весело разрезая засасывающую толщу глубокой воды, превращая её в мелкие брызги, разлетающиеся в разные стороны, как осколки хрустальной посуды?

А телефон всё звонил и звонил, напоминая рёв сирены.

22

И опять всё обошлось. Снова сетчатку приклеили силиконом. Тёща лежала тихая и внимательно изучала трещину на потолке.

Одиссей был зол на врача, думая, что тот просто из современных оборотистых молодых профессоров, кующих деньги на несчастьях близких. Он поднял на ноги всех своих знакомых, те нашли ему альтернативные консультации, на которых его уверили, что лечение правильное, операция сделана очень профессионально, но гарантии нет никакой, и вряд ли кто вообще полезет в такой глаз. Его жене категорически нельзя нервничать и иметь сильные физические нагрузки.

Он в который раз удивлялся мужеству своей маленькой подруги, но что-то в ней вместе со зрением сломалось необратимо, то, что нельзя было уже починить.

В ней пропали её молодой задор и энергия, хотя сила осталась. Но это была сила оползня, сползающего с горы и готового неотвратно всё погребать под собой. Увернуться от него не было никакой возможности. Можно было только бежать, зная, что сорвавшаяся лавина догонит и собьёт с ног всё равно, вожмёт в землю, которая будет мягко хрустеть на зубах, перемежаясь с некошеной травой.

Дора всё чаще сидела в кресле или лежала на диване, как лежала её мать. Она даже музыку перестала слушать. Он вспомнил, что когда-то смотрел фильм Ларса фон Триера «Танцующая в темноте», о слепнувшей девушке, которая танцевала. Все кадры в нём были размытыми, нерезкими, рука режиссёра дрожала, как осенний лист на ветру; камера, видимо, заваливалась набок то влево, то вправо, то резко падала вниз, тяжелея в немеющей руке — и все лица и предметы тоже дрожали, подпрыгивали, плыли в своём неестественном ритме, бились в конвульсиях и передвигались, как машины, попавшие в гигантскую пробку: короткими рывками и перебежками. Ему тогда на просмотре фильма стало физически плохо: от духоты в кинозале, от нездорового мельтешения на экране, словно конвульсии агонизирующего, у него поднялось давление и начались спазмы. Он лежал в жёстком деревянном кресле кинозала, насколько возможно сползая с него — так, чтобы перевести голову хотя бы в какое-то подобие горизонтального положения; твёрдый, как молоток для отбивания мяса, край спинки кресла врезался в затылок, причиняя дополнительную боль, которая и так схватила голову обручем. Просунув ноги под сиденье впереди стоящего кресла, он закрыл глаза, стараясь подавить подступающую тошноту, лежал и думал о том, что вот знаменитый режиссёр как-то невзначай достиг своими приёмами того, что Одиссей смог физически почувствовать состояние танцующей на экране девушки. Теперь он видел огненные круги, похожие на взрывающиеся в чёрном небе петарды; круги двоились, троились, сливались и умирали, чтобы возникнуть из пепла снова.

Нет, его подруга не стала слабее, она просто стала злее. Он понимал, что это ожесточение от непредвиденного несчастья, свалившегося

на неё, — нас всех готовят к счастью в этой жизни, и очень мало у кого получается быть счастливым. Когда Дора начинала искать в доме кастрюлю, ему казалось, что завязываются рыцарские бои, с таким остервенением она искала в столе какую-нибудь завалившуюся эмалированную крышку. Он старался не спорить с ней ни о чём, но всё чаще и чаще в него летели какие-нибудь тарелки и чашки, осколки от которых теперь приходилось собирать и выметать ему. Неделию назад она метнула в стену пульт от телевизора, на который они с трудом выкроили деньги. Пульт раскололся; батарейки, отброшенные пружиной, закатились неизвестно куда — и он два часа искал их по всем пыльным, облепленным паутиной углам, отодвигая шкафы и диваны, выволакивая оттуда клочья свалывшейся пыли, похожей на тополиный пух, извалявшийся в чернозёме, в надежде, что электроника пульта цела.

Дора стала осваивать азбуку слепых. Гладила книги руками; как когда-то ласкала его лицо, изучая и запоминая его, так теперь она ощупывала эти выбитые точки, пытаясь понять и выучить их язык. Сам Одиссей был уже книгой прочитанной, которая лежала на столе под рукой, как книга «О вкусной и здоровой пище», которую никогда не читают, но используют при случае.

* * *

В один из вечеров Одиссей написал Светлане сообщение на «Одноклассниках.ру».

<http://www.odnoklassniki.ru/>

Одиссей: Мне с вами интересно, хотя это ещё ни о чём не говорит, но это меня пугает. У меня в жизни началась чёрная полоса, причём очень широкая. Обычно мы носим маску «У меня всё нормально». Очень даже вероятно, что два наших одиночества, встретившись, так и не смогут разжечь свой костёр. И опять будет больно. Но это будет другая боль, сквозь которую будет прорываться ощущение, что мы с вами сделали всё что могли. А пока, открывая свой электронный почтовый ящик, я каждый раз рад, увидев в папке «Входящие» ваше имя.

Нам уже так много лет — две трети жизни

прошло, остались какие-то крохи... я знаю, что я загнан в тупик, из которого нет выхода и не будет.

Светлана: Я, к несчастью для себя, умею читать иногда между строк. Над вашей жизнью повисло ватное одеяло облаков? И безветренно. Но ведь за чёрной полосой всегда приходит светлая. Вопрос только в ширине полос. Всё проходит, пройдёт и это. Если вам будет очень грустно, вы пишете. Просто так. Я человек не «стайный» и, тем более, не «стадный»...

Одиссей: Я был в Дивееве когда-то. Зимой. Так вот... Я долго боялся прыгать в полынью, а потом решил: прыгаю... А когда прыгнул — у меня дух захватило, думал, инфаркт будет от перепада температур. А потом такая лёгкость была... И сейчас у меня такое же состояние: прыгнуть? не прыгнуть?

Светлана: Понимаете, что можно прыгнуть — и, скорее всего, напороться на корягу или, если не расшибить голову о бульжник вместо глубины, то пропахать лицом по иллистому дну? Вечные поиски недостижимого. Сейчас смотрю по вечерам фильмы Бергмана. Отвечаю, а ещё не вышла из их психологического настроения. После них какое-то очень странное чувство возникает, что человек — очень одинокое существо в экзистенциальном смысле.

Все мы чего-то ждём. Бегаем всю жизнь с сачком за бабочками иллюзий.

Одиссей: Может быть, мы погуляем по городу? У меня какая-то депрессуха.

Светлана: Погода нынче стоит аномальная. Тепло, как в октябре. Я уже спрятала осеннее пальто в полиэтиленовый мешок с нафталиновыми катышками и выстирала лёгкий шарф. Пришлось доставать обратно. Шарф снова запах парижскими духами. И совсем не понимаешь, не чувствуешь, что давно не октябрь, а сама зима, и лучшее время ушло, пролетело: беги не беги — только задохнёшься с сердечным приступом; в чужой вагон на скоростном ходу экспресса не прыгнешь; несбывшееся, скорее всего, несбывшимся и останется — только всё большее будет сердце щемить от пропажи и бездонной пустоты... И ждать остаётся лишь снега и чёрно-белой жизни без вкуса и с заложенным носом. Но пока октябрь — и кажется, что это всё не про тебя...

Окончание следует

Все электронные адреса, упомянутые в повести, вымышленные и не имеют никакого отношения к реальным пользователям сети Интернет.



Галина ТАЛАНОВА

(настоящее имя Бочкова Галина Борисовна)
родилась в г. Горьком.

Окончила Горьковский госуниверситет,
кандидат технических наук.

Поэт, прозаик. Автор шести книг стихов:

«Годовые кольца» (1996); «Ожидание чуда» (2001);

«Подобие дома» (2006); «Жизнь щедра» (2007);

«Душа любви открыта» (2009);

«И за воздух хватаясь руками...» (2011).

Стихи публиковались в таких изданиях, как

«Литературная Россия», «Новая газета»,

«Роман-журнал XXI век», «Юность»,

«Созвучье муз» (Германия), «Истоки» и других.

Член Союза писателей России.

Живёт в Нижнем Новгороде.

В журнале «Север» публикуется впервые.

